

35
1983

✓
5/1983
ISSN 0136-2500

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1983

3



01219125

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Слово нашим женщинам

МАРИКА БАРАТАШВИЛИ. Стихи. Перевод Вале- рия Краснопольского	3
БЕРИКО ЦЕРЕТЕЛИ. Стихи. Вступление и перевод Виктора Бокова	4
ЭТЕРИ САМХАРАДЗЕ-ДЖГАМАДЗЕ. Стихи. Пере- вод Юрия Анохина	7
ЛИЯ ДАВТЯН. Стихи	9
НАНА ГВИНЕПАДЗЕ. Стихи. Перевод Глана Онаяна	9
ИРЭНА СЕРГЕЕВА. Стихи	11
АЛЛА БЕРИДЗЕ. Стихи	13
МАКВАЛА ГОНАШВИЛИ. Стихи. Перевод В. Ар- темова и Г. Павловской	17
ДАРЕДЖАН КВАНЧИАНИ. Стихи. Перевод Алек- сандра Моршина	18
Новые лауреаты.	22

ПРОЗА

РЕЗО ЧЕЙШВИЛИ. Ветер доносит музыку. Перевод Гины Челидзе. Окончание	23
---	----

3

1983



ЛЕЙЛА МЕСХИ. Ночь в храме. Рассказ. Перевод
Даниила Джанашивили 80

ГАСТОН БУАЧИДЗЕ. Странницы жизни Мари Броссе. Продолжение 95

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ИННА БОРИСОВА. Небо над головой 135

ЭДУАРД ЕЛИГУЛАШВИЛИ. Свидетельства пристрастного очевидца 155

**К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н. ЛОРДКИПАНИДЗЕ**

НОДАР ДУМБАДЗЕ. Слово о Нико Лордкипанидзе 160

РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Блестящий, как клинок, талант 163

МАКА ДЖОХАДЗЕ. Боль души 165

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

ГУРАМ ШАРАДЗЕ. «Муза двадцатого века...» . 168

ОЧЕРК

МЭРИ СОФИАНИДИ. Алмазные годы Гомелаури 174

К 300-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА

БОРИС АНДРОНИКАШВИЛИ. Потомки Вахтанга VI в России 191

ИСКУССТВО

СОФИКО ЧИДАУРЕЛИ. Монолог с комментариями. Монолог записала и комментировала Виктория Зинина 214

АНГЕЛИНА ГРИГОЛИЯ. Новый портрет А. С. Грибоедова 221

ХРОНИКА 222

Праздник 8 Марта стал у нас символом глубокого уважения к женщине, ее равноправного положения в социалистическом обществе. В этот день Родина торжественно чувствует своих верных дочерей, неутомимых тружениц, пламенных патриоток. Страна Советов законно гордится вашими успехами и достижениями в различных областях экономики, науки, культуры — в заводских цехах и на сельской ниве, в школах и медицинских учреждениях, в исследовательских лабораториях и сфере обслуживания.

(Из приветствия ЦК КПСС советским женщинам).

Марика БАРАТАШВИЛИ

МАТЬ

Посвящается матерям сыновей, погибших в Великую Отечественную войну.

Поднимите ее высоко,
В поднебесье ее вознесите,
Мать бойца над Землей пронесите —
Отыщите могилу его...
Опустите ее рядом с ним,
Никому не известным солдатом,
Колыбельную пела когда-то
Мать ему и другим пятерым...

Он один из шести сыновей,
Их с надеждой она провожала.
И война давно отпылала,
Только мать все ждала сыновей...
Кто отпустит боль матерей,
Тихо плачущих у обелисков?!
В мире нет куска солоней,
Что пропитан слезой материнской!

Поднимите ее высоко,
В поднебесье ее вознесите,
Мать бойца над Землей пронесите —

მ. მარტანი სპ. სპ. სპ.
სახელმწიფო რესპუბლ.
ბ ი ბ ლ ი მ მ ბ ბ ბ



Мать — легенду и память его!
Всех Отчизне она отдала
Сыновей, что с надеждой растила
И за жизнь постоять научила,
Но от смерти спасти не могла...
Были в жизни шесть похоронок,
Шесть зияющих черных воронок
В материнской священной груди,
Но она поднималась из пепла,
Хоть от горя почти что ослепла, —
Ведь надежда была впереди...

Поднимите ее высоко,
В поднебесье ее вознесите,
Мать бойца над Землей пронесите —
На Земле мать превыше всего!

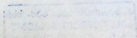
Перевод Валерия КРАСНОПОЛЬСКОГО



Верико ЦЕРЕТЕЛИ



Руки творца невидимы,
Но осязаемо зримы.
Как он рисует осени,
Как он рисует зимы!
Нет у него учителя,
Нет у него наставника,
Что сотворил он мучительно,
То навсегда останется.
Слава мирская зачем ему,
Почести наши никчемны.
Все свои обозначения
Он созидал увлеченно.
Благословляю величие
Дел твоих и свершений.





Нет у меня в наличии
Богоподобных решений.
Малая крошка, песчиночка
Я в мировом обиходе.
Я из твоей отчизны
В твоей пребываю природе.
Жизнь моя — тонкая свечечка
И догорит понемногу.
Вместо моей, человеческой,
Дай мне другую дорогу!
Сделай меня травинкой
На пастушиной террасе.
Чтобы с лугами сравниться,
В вечности затеряться!

МОРЕ

Море билось,
Море менялось,

О СТИХАХ ВЕРИКО ЦЕРЕТЕЛИ

Я люблю Грузию. Ценю ее избранность. Но об этом у меня в стихах:

Грузия, избранница богов,
Ангелы крылом ее касались.
Русский царь сослал своих врагов
В Грузию, а там они спасались!

Свежи в памяти встречи с Г. Леонидзе, С. Чиковани. Незабываемы поездки по Грузии во главе с А. Твардовским, поездки в Кахетию.

Каждое проявление творчества Грузии для меня дорого:

так тронули меня стихи Верико Церетели своей пугливостью в прикасании к природе и к таинству сердца. В стихах ее больше чувства, чем холодных умозрений. Я с радостью переводил ее лирику. Я уверен в главном: Верико — поэт. А это выше рифмования и игры в складывание кубиков слов. Поэзия — не формальность, а сущность, озаглавленная музыкой сердца. У Верико это есть!

Виктор БОКОВ



Море плакало,
Море смеялось,
Море дыбилось,
Море ревело,
Море двигалось,
Море чернело,
Море бросало
Соленые брызги,
Волны породы
Гранитные грызли,
Щебень и гравий,
Гудели, играли,
Корчились в злобе
У моря в утробе.
Море силою
Неизмеримой
Ничего в себе
Не изменило.
Море хотело
В небо подняться,
Чтобы с вершиною
Горной обняться.
Как ни гневилось,
Как ни металось,
Где оно было,
Там и осталось.
Тихо лежит,
Грустно вздыхает,
И утихает,
И утихает.

УТРО

Солнце над морем,
Над эвкалиптом.
Сад не шелохнет,
Не скрипнет калитка.
Но почему это
Сердится море?
Стонет оно
От неведомой боли?



А если солнце днем иссушит зноем,
Ты волшебством своих алмазных рос
Вновь воскресишь меня пред утренней зарею.



Отец мой,
Я внуков тебе приведу
Веселых и сильных —
Всей жизни твоей продолженье.
Отец мой,
Я дом твой во мраке найду,
Мне компас мой — сердце
Укажет его направленье.

Открой же
Широкие двери скорей
И встань на пороге,
Вином нас веселым встречая!
Отец мой,
Огнем очага нас согрей,
Пусть буря шумит за окном
И деревья качает!

Веселой семьей
Мы за дедовским сядем столом,
Вином молодым
Мы до края бокалы наполним...
Что нам непогода?!
Очаг полыхает огнем.
Что нам непогода,
Что гром и сверканье молний?!

Отец мой,
Я внуков тебе привела
Веселых и смелых,
Стального литья и закала...
Отец мой,
Я дом твой и в бурю нашла:
Мне сердце, мой компас,
Во мраке его указало!

Перевод Юрия АНОХИНА



●

Еще в горсти не все окоченело.
Еще вода бежит и пахнет хлеб.
Есть карандаш и чистая страница.
Подросток есть, что жизнь продлить спешит
и волком шерится на нежность компромисса.
Искромсан труд, но он пока не труп,
а мальчик брошенный,
никто не отнял права поднять его
и сшить ему камзол...

●

Две девочки, два близнеца-лисенка
в четыре глаза жадно смотрят в мир.
Две пары ножек в «па» сложились робко,
и кисти рук, чуть видные, слились.
Под пачками — воланы панталон
белеют еле видно, словно нимбы,
шестнадцать ожерелий из пистон,
два хохолочка влажных, серо-рыжих,
и черная дуга простого стула
легатом четким крылья притянула.

◆

Нана ГВИНЕПАДЗЕ

СИЛА ЧЕЛОВЕКА

Человек способен исцелять
И толпу голодную насытить,
Над садами щедро расстилать
Сине-голубой небесный ситец,



Посидеть с друзьями, покурить,
Сотворить, как чудо, век машинный,
И в рыжке летящем покорить
Самые высокие вершины!

Человек проходит над водой,
Невесомо в космосе витая,
И его высокой правотой
Всемогуща Родина святая.

Человек — он лепит сам себя
С верою неистовой и блеском —
К чудесам влечет его судьба
В мире современном и библейском,

Чуду служит он, презрев покой,
Став провидцем в поиске глубоком!
Человека, если он такой,
Не грешно назвать, наверно, богом...

СКАЗАННОЕ С УЛЫБКОЙ

Увы — мечтатель ваш избранник,
Его за это не казните:
Воображенья вечный странник,
Он, как лунатик на карнизе.

Придется привыкать к утратам
И сладить с ревностью вполне:
Вы полагаете — он рядом,
А он, быть может, на Луне...

ОДНОКЛАССНИКАМ

От возвышенной печали
Никуда не деться —
Отзвенели, отзвучали
Смех и слезы детства.

В давних школьных коридорах
Стихли наши речи,
И прощанья, без которых
Невозможны встречи...



Было в первом майском громе
Обещанье чуда —
Ничего не надо, кроме
Весточки оттуда.

Детство, детство! Все мы родом
Из твоих угодий,
Тянет нас к твоим воротам
При любой погоде.

Нам пришлось за наше знамя
В жизни побороться —
До конца пребудут с нами
Честь и благородство!

Перевод Глава ОНАНЯНА



Ирэна СЕРГЕЕВА

ХУДОЖНИКУ ТБИЛИСИ

Коль ты карачохели на плоту,
я — на мостках стирающая прачка.
Коль ты рыбак, уж я-то не рыбачка —
цоцхали, чуть живая, на мосту.

Я собираю яблоки в саду
не для тебя, и сад — не Ортачала.
Но этот город — наших душ начало,
ты нарисуешь — я в него войду.

РЫЦАРИ

Памяти Гураме Асатнани

Судьбы рыцарей не рвутся,
остаются на века...
Имя — Рыцарь Революции —
жизни красная строка...



Красотой полны их лица —
пусть их каждый узнает.
Сколько их еще родится,
впереди других пойдет!

Если слово — их оружие,
если гибнут на бегу,
книги их бессмертно служат
Родине и Языку.

АРХЕОЛОГ

Р. П.

Знаток оружия, археолог,
ты лучше знаешь — спору нет,
как труден, как жесток и долгод
наш путь от копий до ракет.

Отроешь погребенье скифа,
но не откроешь всех могил
тех, кто от пули, кто от тифа
упав, врага остановил.

И не отыщешь ты останки
героев, что пришли потом,
фашистские взрывали танки
и сами сожжены огнем...

Что будет с нами в век нейтронный —
и ты задумался, мой друг?..
Земля ответит непреклонно:
«Я меч храню, но рядом — плуг!»

ПЕСНЯ

— Я с гитарой, — сказал. И приехал.
Убедительней слов не нашел.
С чудо-песней изведав успеха,
— Я с подругой, — сказал. И пришел.



Он гитару сжимал осторожно,
опускала подруга глаза.
И качалась, качалась тревожно,
и сверкала серьга, что слеза.

Улыбался, тоскою взрывался.
И от музыки было больней.
То ли прошлому он улыбался,
то ли юной подруге своей.

Каждым взглядом и словом был честен,
красоту выпивая до дна...
Сколько б ни было судеб и песен —
соловьиная только одна.



Алла БЕРИДЗЕ

УЛИЦА ПИРОСМАНИ

Послушай, мальчик, пел нам эту песню
О Пиросмани наш земляк далекий.
А мы с тобой хоть и в жилом затворе —
Висим над бездной... гибельнейший плод.
Послушай, мальчик! Есть всему границы,
И даже этой ярости калёной:
Звероподобно выраженной розни, —
Поди-тка, стены раскрывают рот.

А наш земляк нам пел такую песню...
Такую опаляющую песню —
Что сердце замирало от прилива
Горячей, буйно-сладостной волны.
И слышался мне всплеск Куры, томящей
Воспоминаям давним и прекрасным,
Когда своим отливом мутно-желтым
Она ловила нежный блик луны.

Ну что поделатъ нам, скажи на милость!
Какая нескончаемая пропасть...
А песня о любимом Пиросмани
Щемящим отражением жила
В совсем непостижимых сновиденьях:
Два челнока, плывем мы — брат с сестрою —
По улице отлогой Пиросмани,
По воле волн...

Но корабли сожгла —
И с богом?!

Суждено мне возвращенье
В убийственную зону преисподней,
Где я и ты уже не брат с сестрою —
А дверь и дверь. Меж нами коридор.
Потом он обретает очертанья
Всё той же давней улицы пологой,
Да вон и дом наш!

Дерево...

Светает.
Мы не успеем заглянуть во двор!

●
Я плыву с туманом в гору,
О, Мтацминда!
Ты тепла в ночную пору,
О, Мтацминда!
Твоему внимаю зову,
О, Мтацминда!
Будто истинному слову,
О, Мтацминда!
Будь ко благу, верность слогу:
О, Мта-Цминда...
Раз уж так угодно богу,
Видно.

●
Стою у моста Воронцова,
А ветер хладно и свинцово
Уперся дулом в грудь Куры.
Ноябрь. Листья прозвенели.

Еще недавно пламенели
Их ярко жаркие ковры.
Теперь они за боль Куры
Ознобно выслеженным бегом,
Смешением вех, свершенным веком
Вберут все меры — и миры.
И вздох Давидовой горы...



80-летие — дата почтенная. Но если ею
промечена жизнь труженническая, много-
страдальная, с великим терпением ко все-
му — она заслуживает большего... И я
склоняю голову.

КРЕСТНОЙ МАТЕРИ

Моя старушка, тихий барсучок,
Подслеповато смотрит на пучок
Петрушки — и не может отличить
Ее от киндзы, мне бы ей вручить!

Да я бы ей вручила и медаль.
И облачила в мирту и миндаль.
И уложила б нежно на бочок.
Моя старушка, милый барсучок.

Вы скажете: сентиментальный бред.
Но ею приготовленный обед —
Единственно чем держится душа,
Поскольку за душою ни гроша.

А если оглянуться на судьбу —
Нет, не на беличью в колесике крутьбу
По дому! — то святому лишь под стать
Такая жизнь... Не попросту сверстать.

Так вот судите сами, как люблю
Свою старушку. Сбегать на часок...
Не то, не то! Прощаючись, скорблю, —
От смерти, знать, она на волосок.

ქ. შარტანის საბ. სპ. სსს
სახელმწიფო რეპერტ.
ბ ი ბ ლ ი მ მ

О, дай-то бог ей долгие лета!
Хотя что жизнь ее теперь... Одна плита.
Но небо есть, и солнце есть, и пусть
Живет моя старушка мне на грусть...



НАСТОЯНИЕ

А. Межирову

Настояние — бремя,
Остынешь — и тало.
Расстояние — время,
Которого мало.

Белее ли мела,
Сквозь таль улыбнешься.
Во времени только
Глотком захлебнешься.

Клубятся метели,
метели,
метели,
А все сумасшедшие
наши недели.

Столбы и столетья!..
И дым на ладони...
Плутающий посох
В затерянном лоне.

●
Памяти отцов

Вы солдаты — и мы солдаты.
Только нас не ковали в латы
(Мы рождались где-то за скобками)
Революций литые даты.
Мы рождались, гудя осколками
Вас распарывавших снарядов,
Но рождались мы
где-то за скобками



И не падали с вами рядом.
 Мы не рядом стояли накрепко
 Вздрыбившимися баррикадами, —
 Мы рождались где-то за скобками,
 Но рождались солдатами.
 Шли крутые.

Сквозь ночи лютые,
 Шли на битвы с болотной тогью.
 ...Но такие ль мы все-таки, слитые
 По вашему образу и подобию?



Маквала ГОНАШВИЛИ

ЭТА ЭСТРАДА

Как неоседланная кобылица,
 Музыка, вздрогнув, срывается с места,
 И, улыбаясь фальшиво, певица
 Приветствует нас заученным жестом.

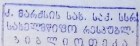
В ключья растерзаны нити покоя,
 Рыщет прожектор по залу потерянно —
 И начинается что-то такое! —
 Великолепней, чем сон и мистерия...

В зеленоглазом, колдующем свете
 Стены забыли — чего они ради! —
 В зале свистит обезумевший ветер,
 Вьется певица под ним на эстраде.

Грохот и свист, но тобой переполнена
 Вспыхнет душа моя ясно и жертвенно —
 Светится! — так в волосах у любовника
 Светятся пальцы забывшейся женщины...

Где мне, скажи, отыскать тебя, если
 Непроходима, длинна дорога, —
 Как от народной грузинской песни
 До твиста, джаз-банда и рок-н-ролла...

Перевод В. АРТЕМОВА





●

Вы вошли и моим ветрам,
Словно сон, подкосили колени.
Сатана хохотал в исступлении,
Прижимал меня к сердцу, был рад,
Будто благожелатель. Прохожих,
Вероятно, пугала слегка
Откровенность улыбки моей, а может,
Луч угасший в моих зрачках.
В поцелуе моем покорном
Зрели тайная месть и вражда;
Вырастали фиалками горными
Капли слез на моих следах.
Я ушла, я от вас отреклась,
Потому что казался немыслим
Даже день, даже час без вас,
И вся жизнь не имела смысла.
Я сорвала парчу и атлас
И холстину, холстину надела;
Власяницей терзала не раз
Я свое беззащитное тело.
Но забыть никогда не могла,
Как вошли вы, взглянули с порога,
Как пронзили мне душу тревогой
Глубина и печаль ваших глаз.
И опять я покорна им
В зыбком мареве сновидений,
Потому что ветрам моим
Вы, войдя, подкосили колени.

Перевод Галины ПАВЛОВСКОЙ



Дареджан КВАНЧИАНИ

ГРУЗИИ

В сердце струится моем Алазани;
Храм Никорцминда — крепкие плечи;
Наши красавицы перепелами
В сердце моем — с красотой их вечной.



Тяжестью давит на плечи Крцаниси,
Тяжесть главы отсеченной Пааты...
Конь вороной мне заржал из Аниси,
Конь необъезженный, вольный, крылатый.

Сердцем певучим в стихах Руставели
Слышу высокие мудрые речи,
И лучезарный гений Пшавела...
Это — в душе поминальные свечи.

Солнце, и небо, и гор моих кручи —
Грузии крест мне на плечи возложен,
Знаю, сладка и горька моя участь,
И тяжела и легка моя ноша.

ПРИЗНАНИЕ

Анне Каландадзе

Хидистави, вязы, шелковицы,
Мельница — трудяга неустанная,
Божия коровка, ветка гибкая, признаюсь вам,
Что люблю я Анну.

Горы да фиалки темно-синие,
Взгляд лукавый детства из тумана,
Взмывший в небо коршун — вы поймете ли? —
признаюсь вам,
Что люблю я Анну.

Ты, Хайяма тень, чудесно пьяная
Вопреки суровому Корану,
Ты, красавица-цыганка беззаботная, признаюсь
вам,
Что люблю я Анну.

Уплисцихе, Зарзма, Ошки, старый Тао,
Покосившийся плетень и пар над чаном,
Вы, Дарьяльское ущелье, буйный Терек,
признаюсь вам,
Что люблю я Анну.

Соловей и звук свирели,
И суровые обветренные храмы,
Грузия и Гурия родная, признаюсь вам,
Что люблю я Анну.

А ВДРУГ...

[по фольклорным мотивам]

Пустила клубок на счастье,
Тебя он выбрал в скитаньях,
Тебе я открыла сердце...
А вдруг не поймешь признанья?

Молила я небо и горы —
Спасенья ждать откуда?
Тропинка к тебе — как к звездам...
А вдруг не свершится чудо?

И пред свечою тайной
Шепчу дорогое имя,
Душа истомилась мольбою...
А вдруг ты предашь, любимый?

У ивы плакучей нежность,
У солнца лучшие краски
Взяла для стихов заветных...
А вдруг... и они напрасны?

РАЗВЕ ЗАБЫТЬ МНЕ...

Не забывай — это горы поют протяжно,
Это мычат коровы и шепчет нива,
Это тропинка вьется и манит к уступам влажным,
Это грустит над водою плакучая ива.

Не забывай нас, — тихо огонь в очаге подпекает;
По-матерински приветливы очи родного селенья;
Так простодушно и ласково сердце они обнимают,
Эти акации — женщины в белом — ажурною сенью



Памятью, памятью кровь закипает у старой девильни,
 Лишь зацветает лоза — и от памяти некуда деться;
 И от загара, царапин и ссадин, и пятен чернильных
 Мне не уйти — невозможно уйти из далекого детства.

Не забывай нас — как эхо. Да разве забыть вас
 возможно?
 Вам я и сердце свое раздаю каждый день
 по крупицам.
 Это «корабль незабвенья» поднялся над морем
 тревожным,
 Так моя память кричит улетающей птицей.

Мирзе Геловани

●

Стих — это меч острый,
 Мысль — это гром гордый,
 Сердце — просторный остров,
 Душа — небо и горы.

Прекрасно владенье это:
 Рядом — и меч, и лира,
 Патриарший посох поэта
 И сказочная палитра;

И голос мечты звонок,
 И порох в стихах этих...
 Мирза! Взрослый ребенок,
 Юный бог Тианети!

Перевод Александра МОРШИНА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП ГРУЗИИ
И СОВЕТА МИНИСТРОВ ГРУЗИНСКОЙ ССР

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИИ
ГРУЗИНСКОЙ ССР ИМ. ШОТА РУСТАВЕЛИ
ЗА 1983 ГОД

Принять предложение Комитета по Государственным премиям им. Ш. Руставели в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров Грузинской ССР о присуждении Государственных премий Грузинской ССР им. Ш. Руставели за 1983 год:

В области литературы

Джапаридзе Ревазу Андреевичу — за роман-тетралогию «Тяжелый крест»;

Чиладзе Отару Ивановичу — за роман «Железный театр».

В области музыки

Вирсаладзе Элисо Константиновне — за концертную деятельность последних лет;

Исакадзе Лiane Александровне — за концертную деятельность в 1980 — 1982 годах.

В области изобразительного искусства

Кутателадзе Гураму Аполлоновичу (посмертно) — за живописные произведения последних лет.

В области киноискусства и телевидения

Танакишвили Сесилии Дмитриевне — за художественные образы, созданные в последние годы.

Секретарь Центрального
Комитета КП Грузии
Э. ШЕВАРДНАДZE

Председатель
Совета Министров
Грузинской ССР
Д. КАРТВЕЛИШВИЛИ





Резо ЧЕИШВИЛИ

ВЕТЕР ДОНОСИТ МУЗЫКУ

ВЫСОКИЙ, сутулый, ширококостный, он приехал из деревни на заработки. Работал на вокзале носильщиком. В дождь и в ветер, в жару и в холод с наброшенным на голову мешком таскал он любой груз, лишь бы ему за это платили. Чаще всего он вместе с другими грузчиками разгружал товарные вагоны. Туго набитый тяжеленный мешок он перекидывал через плечо, как мутанку, как самую обыкновенную мутанку, которую мы обычно подкладываем под подушку. Его настоящего имени тогда я не знал, да и потом не стал уточнять. За глаза его называли «Кособокийм». С первого взгляда он производил впечатление человека вполне нормального. Ходил он всегда задумавшись, словно ничего не видя и не слыша вокруг, но стоило только кому-нибудь крикнуть: «Кособокий!» — как он выходил из себя.

— Кособокий! — издали кричали ему дети.

Окончание. Начало см. «Литературную Грузию» №№ 1, 2 за 1983 г.

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

— ...вашу мать, — матерился он, — так вас разэдак, это я кособокий?!

Вообще-то он был тихим, бессловесным, хоть кирпичом бей по голове, но прозвище «Кособокий» он просто слышать не мог.

— Кособокий, хлеб высокий, черный, белый, недоспелый!

«Мать вашу так, разэдак, я вам покажу...», — раздавалось в ответ, и он бросал на землю ношу, кому бы она ни принадлежала, и мчался за нами, как безумный. Мы разбегались, прятались — куда ему было нас догнать!

Взрослые увещевали нас, говорили, что нельзя так поступать, владельцы ноши сердились на нас. Мы и сами знали, что нельзя так поступать, но ничего не могли с собой поделать. Поодиночке мы не задевали его, но стоило нам собраться вместе, как мы забывали все увещевания и начинали его изводить.

А ведь какими жестокими и беспощадными могут быть дети в подобных случаях. Они напоминают взрослых, которые беспощадно, бессмысленно, беспричинно травят друг друга. Правда, при этом они слепо подчиняются кому-то, а не чему-то.

— Кособокий... хлеб высокий, черный, белый, переспелый, — продолжали мы кричать, а он в ответ в бешенстве сыпал бранью и бежал за нами, тщетно пытаясь настигнуть хоть кого-нибудь из обидчиков.

Потерпел бы он чуть-чуть, промолчал бы хоть раз, и мы, конечно же, отстали бы от него, надоело бы нам выкрикивать бессвязные слова. Но всякий раз при окрике «Кособокий» приступ бешенства овладевал им.

Как-то раз купил он себе в магазине материал на брюки, и его обмерили. Портной сказал, что кусок этот косой и что брюки из него не получатся, пойдди, говорит, в магазин, пусть тебе отмерят правильно, тогда, мол, сошью. Узнав об этом, жена грузчика взбеленнулась. Несчастный, кричала она мужу, что это тебя все обманывают, почему ты взял косой материал. Выслушав все это, грузчик выскочил из дому, помчался прямо к продавцу и устроил там страшный скандал. Как, мол, ты посмел так отмерить мне материал! С тех пор его и прозвали, оказывается, «Кособокиим».

— ...Кособокий, хлеб высокий, черный...



— И того, кто вас сюда послал, и всех ваших близких...

«Да перестаньте вы в конце концов, зачем вам выслушивать брань», — не скрывая улыбки, журили нас взрослые. Но было видно, что и сами они здорово потешаются.

Когда дети и одного с ними ума взрослые не трогали его, когда никто его не беспокоил и не задевал, не называл кособокиим, человек этот тихо, спокойно ходил по улицам, озабоченный мыслями о завтрашнем дне.

И только одно лишь это слово отравляло ему существование!

Как-то раз он весь в поту, запыхавшийся от работы и беготни за детьми, вошел к нам во двор. Воротник телогрейки был у него оторван. Никто не спросил его, и сам он не сказал, что с ним приключилось. Он извинился, попросил разрешения умыться дождевой водой из бочки. Освежился, успокоился, оглядел как следует все вокруг и сказал: это хорошо, что вы строите такой большой дом.

— Что же тут хорошего? — спросила соседка, которая собирала у ограды листья подорожника.

— А то хорошо, что войдете в него и будете жить, — объяснил Кособокий, вытирая мокрые руки о рубашку. — Что, разве это не хорошо?

— Отчего же не хорошо... — вздохнула, присев на корточки, соседка.

— Что же ты там делаешь, если это хорошо... — не отставал он от соседки, которую принял за хозяйку дома.

— Подорожник собираю, у ребенка ножка распухла, хочу приложить...

— Правильно делаешь. Это помогает.

— Курицу умеешь резать? — неожиданно спросила его мама.

— А как же, конечно умею... — ответил Кособокий.

— Зарежь, пожалуйста, не поленись!

Курицу и нож мама, оказывается, прятала за спиной. При виде курицы Кособокий побледнел, оробел, явно было видно, что в равнины он не годится.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

— Хочешь, чтоб я сейчас ее зарезал? — спросил он на всякий случай.

— Да, сейчас... — засмеялась мама.

— Ну, если сейчас, тогда другое дело... — Он взял курицу и уставился на нож. — Все забрызгает во круг...

— Ничего...

— Как это ничего, так чисто кругом, выметено... — забеспокоился Кособокий.

С грехом пополам он отрезал или оторвал голову тощей курочке, я точно не знаю, так как, будучи не в силах наблюдать эту картину, унес ноги подальше. Когда я вернулся, то увидел выходящего из калитки Кособокого, грустного и понурого.

У поворота на Сакирскую улицу за ним увязалась стайка детей.

— Кособокий, хлеб высокий, черный, белый, переспелый! — кричали они ему вслед, но Кособокий уже не обращал на них внимания.

Он умер на вокзале во время работы, стоя на ногах, как старый конь.

ВИДЕЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЧЕЛОВЕКА, ОБИЖЕННОГО СИМОНОМ!

СИМОН был человеком особенным. Что бы ни случилось, он никогда никому ничего обидного не говорил. Никогда ни с кем не связывался, ни со старшими, ни с младшими. Сидел себе тихо, никого не беспокоил.

Ниже нас, рядом с магазином, в доме со сломанной оградой, где стоял полуразвалившийся грузовик, было несколько жильцов. У обочины дороги два больших липовых дерева цвели ранней весной, распространяя вокруг сладковатый запах меда. К наполовину глухой стене трехэтажного дома, того самого, перед которым росли липы, была приставлена прямая, без поручней, лестница. Вот на этой самой лестнице и сидел обычно Симон в любое время. Лестницу эту частично упразднили, одна сторона дома временно была заколочена.

Симон садился... могу припомнить точно, на пятую или на шестую ступеньку. Выше он никогда не подни-

мался и никогда не спускался ниже. Выцветший брезентовый дождевик, перехваченный поясом, и деревянные, связанные веревкой калоши носил он летом и зимой. Всклокоченные, щетинистые борода и усы, нахлобученная на глаза фуражка с длинным козырьком — таков был Симон. С первого взгляда он оставлял впечатление человека спокойного и рассудительного. Он не попрошайничал, но от милостыни не отказывался. Зато, принимая пожертвование, он столько извинялся, так колебался и смущался, что создавалось впечатление, будто сам он оказывает вам большую милость, после чего вы чувствовали себя как бы в долгу перед ним.

«Я держусь молодцом, потому что не умею сердиться», — говорил он о себе.

И действительно, он хорошо сохранился. Закатав рукава дождевика, показывал нам белую гладкую руку, взгляните, мол, похож я на старика? «И зубы все свои», — оскаливался он иногда, когда считал необходимым.

Если вы протягивали ему рубль или, скажем, пять (деньги в то время ничего не стоили), он начинал пристально смотреть на вас. Осторожно интересовался, не обидел ли вас когда-нибудь словом или делом.

— Да нет, что вы, ради бога!

— Тогда можно...

Забирал у вас деньги, надежно прятал их в нагрудный карман и тут же начинал сокрушаться, дескать, не следовало этого делать, говорил, что брат его большой человек и не дай бог ему узнать об этом! Никто, говорил он, не помнит, чтобы я обидел кого-то, так почему же непременно обижать брата.

— ...Брату моему повезло, да хранит его всевышний. Когда встречается со мной где-нибудь, смотрит в сторону, не узнает... Хороший он человек, только не узнает брата... А я и не в обиде, прав он, зачем я ему нужен... Он ведь большой человек, а что я ему дам, опозорю и только... Такова жизнь, ничего не поделаешь...

Симон скрывал от всех, на какой должности был его брат, где работал, чем занимался. «Большой чело-

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

веки, только и слышали мы от него, и слово «большой» вмещало в себе понятие чего-то безгранично большого.

— Помогает он тебе или нет? — спрашивали Симона.

— Зачем мне его помощь, пусть сам будет жив и здоров вместе со своей семьей... Жаль только, что я не могу ему помочь... А что мне нужно? Пенсия у меня есть... И добрых людей на свете много... Мне уже вон сколько лет, а никто не помнит, чтоб я кого-то обидел, так зачем же обижать брата... К тому же все зубы у меня целые...

Безобидным и темным человеком был Симон, но он обладал удивительным даром собирать вокруг себя людей.

— Не возьму, не надо, неудобно, брат у меня большой человек, узнает, расстроится, для него это позор, в жизни никого не обижал, так зачем же обижать брата, и вообще зачем обижать человека, кем бы он ни был, — плакал он, пряча деньги в нагрудный карман; а если оставался ни с чем, начинал причитать пуще прежнего и голос его становился громче: — В империалистической войне я участвовал, все зубы у меня на месте, никто не помнит от меня обиды, и брат мне не помогает, сам ждет помощи от меня, он большой человек, а обо мне не помнит, ни он и ни другие не считаются с инвалидом империалистической войны...

А получив милостыню, снова начинал причитать и сокрушаться о том, что, мол, не стоило ему брать этих денег, и что скажет брат, если узнает, и что он срамит своего брата.

Несколько лет назад в Тбилиси, в районе Сабуртало, я увидел сидящих в сквере на скамейке на самом солнцепеке двух одинаково одетых, одного возраста и роста мужчин. В одном из них я узнал Симона. Я не поверил своим глазам, но это был действительно Симон. На нем был все тот же дождевик, перехваченный вместо пояса пояском от женского платья. Выцветшие глаза старого, надломленного человека удивленно смотрели на меня из-под нахлобученной на лоб шапки. Вскоре удивление сменилось выражением страха. Сидящему рядом передалось тревожное состояние Симона, и он тоже точно так же уставился на меня. Они были одинаково одеты, одинаково смотрели на

меня, словно в саду на скамейке на самом солнце-пеке сидели два перепуганных насмерть Симона. Каким образом попали они оба в столицу, не знаю, только я решил поздороваться с Симоном, однако последний, смотревший на меня все это время своими выцветшими глазами так пристально, что мне показалось, будто он узнал меня, вдруг вскочил и побежал. Спутник его, шаркая, последовал за ним. Оба, семеня, пустились наутек. Один Симон бежал впереди, другой сзади...

Интересно, за кого они меня приняли?

ПРИВЕТ, БУЧА! КАК ЖИВЕШЬ, СТАРИНА!!

К НАМ приехал дедушка верхом на коне. Привез гостинцы — лобно, орехи, сушеные яблоки. Коня привязал к ограде и, пока я натаскал сена для этого понятливого животного, огляделся вокруг. Посмотрел на ореховое дерево и перекрестился. Господи, говорит, как оно выросло, видно корни нашли воду, теперь его уже не остановишь, так разрастется, что не даст подняться другим деревьям.

И действительно, ореховое дерево сильно поднялось ввысь, верхушка его стала выше крыши нашего дома. Почти каждый день взбирался я на него, наловчился. За одну минуту я оказывался на самой макушке и оглядывал оттуда ту часть города, которая расположена в низине, отчетливо видел Риони и новый мост.

Дедушка прошелся по нижней части нашего недостроенного дома. Что-то измерил, отмерил, сделал какие-то расчеты в уме. Вот тут, сказал он, выройте столько-то земли, и в следующий свой приезд я навешу здесь дверь, замурую окно, и будет у вас замечательный погреб, прохладный и удобный; должно же хоть что-то запыряться в этом доме, надо же хоть что-нибудь хранить в надежном месте.

Необходимость в погребе мы и раньше ощущали, только кто-то ведь должен был вырыть и вынести землю. На все нужны были деньги.

Ризо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

Кто-то посоветовал нам нанять для этого Бучу, он, мол, и выроет, и вынесет отсюда землю, лучшего, мол, землекопа не сыскать. Советы эти были излишними: землекопа Бучу мы знали лучше, чем кто-либо другой, но этот здоровяк с буйволиной шеей ел за четверых. Насытить его было не так просто. Правда, за свой труд он брал немного, поэтому мы решили как-нибудь поднатужиться; в конце концов нас бы он не съел, а лобию и мчади можно было наготовить вдвоём.

На следующий же день Буча появился в нашем дворе. «Пусть этот мальчик помогает мне, остальное я сам знаю», — указав на меня, сказал он маме. И хоть по мне было видно, какой из меня помощник, я почувствовал, что он меня ни на шаг от себя не отпустит. Он поручил мне наполнять ведра землей, но и это мне казалось необычайно трудным.

Мы приступили к работе. Буча рыл, выгребал, ссыпал все в один угол и выносил в конец двора. Пока он возвращался назад с парой пустых ведер, следующие два уже должны были быть наполнены. Я лез из кожи вон, чтобы успеть, и все-таки не успевал. Буча ворчал, проклинал день своего рождения. А я делал невозможное, но, несмотря на это, он все время был недоволен мной. Он часто курил, и это было моим единственным спасением. Когда он чиркал по кремню кресалом, попыхивал самокруткой из газетной бумаги, задыхался от дыма, я с божьей помощью отдыхал. За это время он даже успевал рассказать какую-нибудь неинтересную, незначительную историю. Каждый свой рассказ он заканчивал словами «мужчина должен быть мужчиной»; выбрасывал окурок и приступал к работе, сперва напевая, потом напев переходил в ворчание и заканчивался проклятьями и бранью.

— ...Человек, мой голубчик, родился для работы... — сказал он мне однажды. — Можно возненавидеть все, кроме работы, есть — и то надоедает человеку, не то что трудиться, но надо себя превозмочь. По-твоему, для кого строится этот дом?

Он сделал такую длинную паузу, что я просто вынужден был поинтересоваться, для кого, несмотря на то, что прекрасно знал, что услышу в ответ.

— Для тебя, вот для кого, понятно?

— Да.

— Хорошо еще, что понятно... Как ты думаешь, не надо его достроить, вон он какой большой. Надо тебе наловчиться в работе, а иначе ничего не получится, видишь, какое сейчас время. Тебе еще ничего, а вот мне как быть? Я тоже начал строить дом, правда не такой, как ваш, но тоже не маленький... И он тоже недостроенный. В верхнем этаже одну комнату я кое-как смастерил, но зимой в ней нельзя жить, вот и ютимся внизу. Жена, детишки завелись в такое тяжелое время. Если б не потерял я отца, было бы не так трудно. Не вовремя он меня оставил. В довершение всего скончался мой учитель, человек, который научил меня рыть землю. Оставил меня на полдороге... Представь, если все твои педагоги в школе умрут в один день, каково тебе тогда будет?! Сколько чего дал мне мой мастер и, кто знает, сколько еще мог бы дать... Он тоже не вовремя покинул меня...

О своем мастере-землекопе он горевал больше, чем о собственном отце.

Два дня трудился Буча у нас и под конец все-таки оставил работу на полпути. Жена подбила его взяться за более выгодное дело, а мы тоже не стали за ним гоняться. Пригласили другого работника, который мало ел, и достроили погреб. Если б еще было что в нем хранить! Но — не беда, раз есть погреб, рано или поздно будет и все остальное.

Жена Бучи была работающая и на редкость злая женщина. С его матерью, то есть со свекровью, у нее были постоянные нелады. В округе об этом знали все. Разве укроется что-нибудь от соседей, да и семья Бучи не делала секрета из своих домашних дел. Женщины ругались друг с другом на первый взгляд безо всякой причины, на самом же деле у них шла борьба за власть. Старшая хозяйка упрячилась, но постепенно сдавала свои позиции. Она старела, теряла силы, а невестка и без того была явно сильнее. Буча стался поддерживать равновесие, насколько это было возможно; заступался за мать, оправдывал ее и все-таки плясал под дудочку жены.

Резо Чейшагли. Ветер доносит музыку.



Когда жена Бучи в третий раз увидела в его лице седой волос, она кинулась к свекрови, связала ей руки и наголо остригла ее ножницами.

Вернулся Буча с работы усталый, голодный. Вошел в дом, попросил поесть; сел, ест, уплетает за обе щеки. Жена сидит в углу, не разговаривает, матери нигде не видно.

— Куда девалась мама? — жуя спрашивает Буча.

— Наверху она.

— Что она там делает?

— Едет на войну.

Буча поперхнулся.

— Хлопни меня по спине... куда она едет?

— На войну.

— Что ты говоришь, кто едет на войну?!

— Твоя мать, пойди наверх и увидишь сам.

Удивленный Буча поднялся наверх, вошел в залу. В заколоченные досками окна дул ветер. Он огляделся по сторонам, и что же предстало его глазам? В пустой холодной комнате сидит на тахте мать и плачет.

— Убью! — заорал, оказывается, Буча на всю округу, сразу же сообразив, что произошло. Взбешенный, сбегал он вниз по лестнице, но жены не нашел нигде — она ушла к брату.

Целую неделю бранился Буча, уверяя соседей, что все равно убьет ее, следующую неделю он уже молчал, а в понедельник отправился за ней сам и привел домой. Сказал, что сделал это только лишь ради детей.

Сразу же после окончания войны мать Бучи скончалась. Жена его родила еще одну девочку, как бы на смену ушедшей из жизни свекрови, и дни их потекли как обычно.

Года два назад приехал я в наш город. Товарищ взял меня поохотиться на птиц. Была зима. Ночью шел снег. Сейчас он белым легким покровом лежал на земле. Чтобы сократить путь, мы решили пройти через кладбище.

Мы пересекали белое, снежное поле. В том месте, откуда открывался вид на Годогани, Буча один-одинешенек рыл могилу. При виде нас он остановился, перестал работать, оперся на заступ.

— Привет, Буча, как живешь, старина?! — спросил его товарищ.

— Так себе, а вы как? На охоту идете?

— Идем... — ответил мой спутник.

Буча улыбнулся. Совсем он не изменился, только, как мне показалось, стал чуть круглее и чуть ниже. Минувя всевозможные зигзаги, вела его судьба от начала к концу.

У моего товарища была репутация хорошего охотника, и Буча, запрокинув голову, попросил его, чтоб он застрелил для него зайца.

— Зачем тебе заяц, старина Буча?

— Жена у меня больна корью, покажу ей зайца, и она выздоровеет...

Где мы могли застрелить этого зайца?! Откуда его взять? Никто и не помнит, когда в наших краях убили последнего зайца.

— Сделайте для меня это, за мной не останется!.. — крикнул нам вслед Буча. Поплевал на ладони и снова принялся за работу.

Пошел снег. Крупные хлопья падали с неба. Еле слышный шелест пробежал по погруженному в безмолвие кладбищу.

Я оглянулся. Вдали, словно черная муха, виднелась повязанная башлыком голова могильщика. Мне так захотелось узнать, каким образом мертвый заяц мог вылечить его заболевшую корью жену (какое время ей было болеть корью!), словно после этого уже ничего непонятного для меня не осталось бы на этом свете.

САВЛЕ БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ МАЛЕНЬКИМ

САВЛЕ был близким нашей семье человеком, дружил с моим отцом и считал себя чуть ли не родственником; а когда отца провожали на фронт, Савле в тосте сказал моему отцу: «Для твоей семьи я сделаю все, будь спокоен, даю тебе слово мужчины». И с того дня ни разу не глянул в нашу сторону.

Этот невысокий, подвижный, как ртуть, человек, в беспокойных мерцающих глазах которого светилась

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

3. «Литературная Грузия» № 3.

усмешка, одевался зимой в кожаное пальто, осенью в кожаную куртку, весной носил кожаный жилет, сапоги, краги, галоши и кожаную кепку. Умение франтовато одеваться скрадывало его основной недостаток — маленький рост. Во всем остальном он, как видно, был довольно привлекательным мужчиной; по-видимому, вышеупомянутые, а также подразумевающиеся достоинства, не говоря уже о деньгах и кожаной одежде, обусловили его успех среди женщин.

Савле человек большой,
Ходит в кожаном пальто... —

сочинили про него стихи после начала войны. Чуть ли не весь город, включая самого Савле, знал наизусть это стихотворение, где, помимо пальто, упоминались также кожаные брюки, кожаная куртка, галстук и что-то еще в этом роде.

Через три года после начала войны мама направила меня к Савле с письмом, всучила авоську, как она сказала, «на всякий случай». Я догадался, зачем она меня посылала, и отказался идти.

— Почему не хочешь идти?

— Мне стыдно.

— А ты знаешь, зачем я тебя посылаю?

— Не знаю, но не пойду...

— Ты должен пойти! — решительно сказала мне мама. Было видно, что и сама она колебалась довольно долго, возможно даже несколько лет, прежде чем решилась на этот шаг и написала письмо, которое начиналось словами: «Если бы не нужда, ни за что бы тебя не побеспокоила...»

Дальше я не стал читать, все было ясно.

Мне стоило огромных усилий переступить порог резиденции Савле. Его не оказалось на месте. Я пустился на поиски, но напрасно. Меня посылали то вниз, то рядом, то напротив. Не найдя его, я обрадовался и собрался было вернуться домой, как вдруг одна женщина, которую я как раз ни о чем не просил, указала мне место, где, по ее предположению, мог находиться Савле. Я отправился туда в надежде, что не застаю его, но, к несчастью, он оказался там, где я меньше всего ожидал его встретить.

Он играл в бильярд. Я остановился в дверях, замер на пороге, даже решил повернуть назад, сказать

маме, будто не застал его, но не мог сдвинуться с места, словно окаменел. Он увидел меня. Узнал. Насмешливая улыбка, относящаяся к партнерам, сошла с его лица. Он еще до того, пока отложил в сторону кий и вытер мел с рук, догадался, зачем я был послан к нему. Взял у меня письмо, прочел, задумался, еще раз перечитал и почему-то вернул. Накинул кожаное пальто и сказал: «Пошли».

— Сумки у тебя нет?

Я ответил, что есть, и смущенно вытащил из кармана скомканную авоську.

— Ну как вы там, все у вас в порядке?

(Если бы все было в порядке, разве пришел бы я сюда!).

— Отец вам пишет?

— Да.

— А ты как?

— Хорошо.

Савле, позвякивая ключами и щелкая задвижкой, отпер двери склада. Зажег свет. Какое-то время стоял задумавшись, уставившись в одну точку. Потом огляделся по сторонам и сложил мне в авоську несколько бутылок постного масла, консервы и еще разные продукты, в том числе американский молочный порошок и концентрат черепаших яиц.

— Справишься? — спросил он, глядя на меня с сомнением. Раз уж я справился со своим самолюбием, то и с этой авоськой как-нибудь справлюсь!

— Заходи еще, — сказал он мне, — беспокойте меня почаще, не стесняйтесь, — искренне предлагал он; прежняя лукавая усмешка заиграла на его лице, и он вернулся в бильярдную.

Между прочим, все свое время он отдавал приятелям. Часто отрывал последнее от семьи и тратил на друзей, любил хорошо провести время, покутить. А когда он попался, никто о нем не вспомнил. Он сидел. Потом вышел. За это время семья его пришла в упадок. Он распродал все, что у него было, но сохранил жизнелюбие, гордость и кожаную одежду.

Первый же «Москвич», который появился после окончания войны (эта юркая красивая машина), в пер-

Резо Чейшанли. Ветер доносит музыку.

вый же день сбил его насмерть. Случайно, что и говорить.

Разве это не насмешка судьбы?!



БАЗАР, ШЕСТОВИК, ГОНЧАР И ДРУГИЕ

ПОНЕМНОГУ мы вынесли из дому и распродали на базаре все, что можно было продать, чтобы потом на эти деньги купить муку и лобio и как-то прокормиться. Рос я очень быстро и энергии расходовал больше, чем следовало. Несоответствие между затратой энергии и нашими материальными возможностями давало о себе знать настолько, что мама в отчаянии измеряла сантиметром мои похудевшие запястья. Однажды я, купив в магазине по карточкам теплый хлеб (норму всей семьи), чуть ли не целиком съел его по дороге, а дома объявил, что свою порцию я уже получил, положил на стол остаток общипанного хлеба, ушел и не явился к обеду. Вернулся я ночью, тихонько прокрался в комнату. На столе рядом с тарелкой супа для меня была оставлена нетронутая порция хлеба. Я с аппетитом съел все это и почти насытился, даже не спросив, кто из домашних лег спать голодным. Впрочем, стоило ли спрашивать и гадать.

Однажды мы распороли матрас, вынули оттуда шерсть и отнесли на базар. Мать разложила шерсть на прилавке и стала ожидать покупателей. Пустой мешок я свернул, сунул его под мышку; покрутился какое-то время вокруг да около, а потом смешался с гудящей, пестрой толпой, обошел базар вдоль и поперек, обследовал все и наконец остановился около гончаров.

Здесь торговали новенькими, только что обожженными кувшинами, горшками, мисками, сковородками и другой глиняной утварью.

Разинув рот, уставился я на умелого торговца, который бойко распродавал свои изделия. Будто бы изо всей силы колотил гладкой самшитовой палкой по глиняному горшку, словно желая разбить его вдребезги. Звонким дребезжанием отзывалась глина. Вскрикивала при этом неопытная хозяйка, вызывая смех зевак, в большом количестве окруживших паясничавшего тор-



Говца, который подкидывал вверх миску, а когда она, завертевшись волчком, падала вниз и уже чуть ли не касалась земли, он, подставив ладони, быстрым ловким движением снова подбрасывал ее вверх.

«Бросай куда хочешь, бей, колоти, ударяй друг о друга, не разобьется, даже не треснет», — уверял он уставившегося на него расширенными глазами покупателя, всучивая ему посуду. Не только меня, но и многих других, больших и малых, заворожил он своим аттракционом.

Неожиданно дежурный контролер базара кинулся ко мне, схватил за плечо, чуть не вывихнув его. — Что у тебя там, в мешке? — заорал он вдруг. Что могло быть в пустом мешке! Думая, что он хочет отнять у меня мешок, я стал пятиться. К счастью, дежурный-контролер потерял интерес к мешку... Оглядел меня с ног до головы и, сказав: «Нечистая у тебя душа, мне так кажется, пошли со мной», повернулся, дунул что есть мочи в свисток и зашагал по базару, а я за ним. Пронзительно свистя, толкаясь, бранясь и ругаясь, пробирался он сквозь толпу в другой конец базара. Я знал этого человека. Раньше он преподавал физкультуру и прыгал с шестом в школьном дворе. Было видно, что профессию он сменил недавно.

Идет он, свистя, по базару, с красной повязкой на рукаве, с развевающимися полами старой шинели, а я торопливо следую за ним, стараюсь не отстать, не потеряться. Протискиваюсь сквозь толпу, продираюсь между прилавками и продавцами, чтобы сократить путь, и все же не могу поравняться с обогнавшим меня спортсменом, который не оглядываясь движется вперед.

Зачем я шел за ним? Сейчас-то я догадываюсь, почему я это делал, что заставило меня тогда устремиться за ним. Собственно говоря, я и тогда действовал сознательно. Мной руководило оскорбленное достоинство. Надо же было на всем базаре, среди такого количества спекулянтов, воров и жуликов выбрать именно меня и публично, на глазах у всех, заинтересоваться моим пустым мешком, заявить, что у меня нечистая душа! Зачем он так сказал? Вот и пусть удо-

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

стоверится в том, кто я и что я, думал я, наверное, все-таки какой черт нес меня за ним? И хоть и боялся потерять мешок, боялся, чтоб у меня его не отобрали, все равно я упрямо следовал за шестовником-контролером.

Он вошел в дежурную комнату. Я за ним. Он сел в углу, усталый, разморенный, спрятал свисток, поправил перекинутую через плечо кожаную сумку, достал папиросу, закурил. Заметив мое присутствие, удивленно уставился на меня, не понимая, что мне было нужно и зачем я там находился. В конце концов он узнал меня, я думаю, по мешку. Выпрямился, провел рукой по пояснице (тогда мне показалось, что он кашляет), кашлянул, принял строгое выражение лица, но отвел взгляд в сторону.

— Фамилия!

Я ответил.

— Имя, отчество, место жительства!

Я ответил на все.

Он встал. Подсел к столу, устроился поудобнее, придвинул поближе скрипучий стул, положил локти на обтянутый сукном в чернильных пятнах стол.

— Так и остался ваш дом недостроенным? — неожиданно с выражением сожаления спросил контролер. Ни он не думал меня поразить, ни я не удивился, несмотря на то, что было действительно удивительно, что наши взаимоотношения вдруг приняли такой неожиданный оборот.

— Только две комнаты наверху отстроили...

— Это я знаю... Больше ничего не добавили? Хотя до этого ли сейчас... Ничего, достроите в свое время, кончится же когда-нибудь война... Что слышно от отца?

— Пишет он...

— Очень хорошо, а ты пишешь ему?

— Да. — Я отвечал ему коротко и конкретно, и дежурный контролер прекратил расспросы. Вошел какой-то толстый потный мужчина, многозначительно поглядел на меня и, сопя, уселся в углу.

— Это хороший мальчик! — сказал ему об мне контролер.

Толстяк достал из кармана смятые квитанции, рас-



Сложил их, аккуратно сложил, потеряв всякий интерес к моей персоне.

А шестовик-контролер молчал, думал о чем-то, бессмысленно постукивал пальцами по обитому сукном столу. Выдвинул наконец ящик и стал там шарить рукой. Я понял, что он собирался мне что-то дать. Толстяк кончил считать и раскладывать квитанции, посапывая встал, взял графин с водой и стал пить прямо из горлышка. В это время в комнату вошел какой-то незнакомый человек.

— Что поделяваете? — спросил он громко.

— О, это ты, слава богу! — проговорил склонившийся над выдвинутым ящиком контролер-спортсмен-шестовик.

Я незаметно выскользнул из комнаты. Никто за мной не погнался, я хорошо это помню.

После войны тот человек вернулся в педагогический институт. Проводил уроки физкультуры во дворе. Он уже не прыгал с шестом, а тренировал молодых, тренировал энергично, по-деловому, мастерски. Когда я, возвращаясь из школы в нахлобученной на лоб шапке, волоча за спиной ранец, разглядывал студентов, тренер время от времени косился на меня, думая: кто этот парнишка, дай бог памяти, где же я его видел.

Я ВЗОБРАЛСЯ НА ВЕТКУ ЧЕРЕШНИ

СНОВА пришла зима, и снова навалило снега, на этот раз больше, чем обычно.

Секретарь районного комитета Эрмиле Кохреидзе навестил нас. Прежде чем войти в дом, он долго отряхивал брюки, счищал приставший к полам старого пальто сухой снег, подносил ко рту окоченевшие ладони, отогревал их дыханием.

— Если не перестанет валить снег, — сказал он, — крышу вашего дома придется очистить. А мы, как вам хорошо известно, обязаны помогать семьям фронтовиков, а то, как я погляжу, у вас тут некому подняться на крышу; он (Эрмиле говорил обо мне) с этим

Резо Чейшенли. Ветер доносит музыку.

не справится, и ничего, мол, тут не поделаешь. — Кто это не справлюсь, — обиделся я. — Если на то пошло, крышу нашего дома я знаю лучше, чем другие, — не на шутку оскорбился я.

— Не говори так, сынок! — Эрмиле посмотрел на меня сверху вниз.

— Мне легче пройти по черепицам, они меня выдержат.

— Не в том дело, сынок... Сейчас не то что тебе, кошке и то не безопасно пройти по этой крыше.

Меня отчитали, запретили даже думать об этом. Ни за что не пущу его на крышу, пусть хоть рухнет она, добавила мама. Вы правы, сказал ей Эрмиле Кохрендзе. Сняв очки, вытер их платком, пообещал прислать человека завтра или послезавтра и ушел.

А снег все валил и валил, и мы уже не на шутку всполошились. Маня Баркалая, соседка, которая заглядывала к нам по вечерам, чтобы погреться и рассказать новости, окончательно нас взвинтила. Сообщила, будто снег разрушил два дома на Археальской горе, три на Очаскуре и четыре в Гоми. Говорила, что мобилизовали туда солдат, что снегоочистительные работы ведутся пока в горных районах, а до нас очередь придет или нет, один бог знает. Даже если правды здесь было наполовину, все равно мы не знали, как быть. Можно было не поверить Мане, но ночью, при свете керосиновой лампы, под непрерывный аккомпанемент шуршания сыпучего снега выслушивать эти рассказы было все-таки невыносимо. А человека, посланного и нам секретарем районного комитета Эрмиле Кохрендзе, было не видать. Снег все падал и падал, но ровно на третий день явился настоящий очиститель — солнце. Потеплело. Снег как бы закристаллизовался, отшлифовался под солнцем, засверкал, подернулся голубизной и начал таять. Булькая, потекла с черепицы вода.

Стоило только солнцу склониться к западу, как сразу же прекратилась капель и стало еще холоднее прежнего. Сидим мы вокруг чугунной печи с просунутой в дымоход каминна трубой. Хозяйка бережет дрова; тлеющий огонь греет только наполовину. И дверь не закрывается как следует, холодный ветер дует в щель, бьет в самый затылок. Прячу под скамьей пылающие



ноги. Спереди жарко, сзади холодно! К тому же мне мешают читать. Брат и сестра затеяли возню, галдят, действуют мне на нервы. Шлепнешь, поднимут такой рев, просто ужас. Ну что с ними поделаешь! Сестра схватила горячую кочергу и дала мне прямо по голове, я вцепился ей в волосы и оттащил ее как следует, она в рев. Мне влетело от мамы. — Зачем ты меня бьешь? — спросил я, задыхаясь от досады. Ты, говорит, виноват во всем, потому и бью.

Почему я был виноват во всем? Теплой шапки у меня не было, башмаки протекали, читать мне мешали, на крышу подняться не разрешали (правда, я и не особенно этого хотел), снег таял медленно, война не кончалась, вместо других попадало мне, да еще во всем, оказывается, был виноват я. Зачем мне нужна такая жизнь!

Я вскочил, распахнул дверь, выскочил босиком на снег и побежал. Кинулся сперва к калитке, но бежать босиком по улице не решился, было стыдно. Предпочел остаться во дворе. Бросился к забору, потом обратно, словом, заметался по саду. Не придумав ничего лучшего, влез на черешневое дерево. Примостился там на толстой ветке и многозначительно посмотрел вниз. Интересно, мол, что происходит внизу, на земле. Первое, что я увидел, были мои брат с сестрой, которые, опершись подбородком о перила балкона и широко разинув рты, смотрели на меня. Потом я увидел маму во дворе, одна нога у нее провалилась в снег.

— Спустишь, окаянный! — умоляла она меня.

Не спускаюсь.

— Спустишь, простудишься, чтоб тебе не вырасти!

Ни просьбы, ни проклятья, ни угрозы, ни обещание купить ушанку не помогают.


Хоть бейтеесь головой о камни, все равно не спущусь.

— Ну и сиди там, если хочешь! — крикнула под конец мама, поднялась на балкон, отогнала от перил и завела в дом удивленных малышей.

Этого я никак не ожидал!

Вот и остался я на черешневом дереве, босиком, без шапки, в одной ситцевой рубашке. Внизу снег, кру-

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.



гом мороз, который постепенно дает о себе знать. Шафрановое солнце садится, опускается во мрак и уходит.

Что тут поделаешь!

Пришлось спуститься.

До каких же пор мог я сидеть на дереве?

МНЕ КУПИЛИ ШАПКУ

МНЕ купили на базаре ушанку. Заплатили за нее, как нам показалось, дорого, хотя продавец, если говорить правду, отдал ее нам почти даром. В обмен на килограмм хлеба всучил он нам эту большую, лохматую, изрядно поношенную шапку. Наконец-то отогрелись у меня уши и лоб. Надел я эту ушанку и даже не заинтересовался, кому она раньше принадлежала, кто ее носил и кто износил.

Я пошел в театр на утреннее представление. По воскресным дням туда набивалась детвора и достать билеты было довольно трудно. Пробравшись в очередь и чуть не задохнувшись в толчее, я с грехом пополам протиснулся к кассе, протянул в окошечко деньги, и тут же у меня с головы сорвали шапку.

Я взял билет. Выбрался из очереди раскрасневшийся, с пылающими щеками, кинулся искать свою шапку, но ее и след простыл, поди узнай, кто ее сцапал. Стою, составляю в уме всевозможные планы, гадаю, вернуться домой или нет, сочиняю разные версии пропажи шапки. Стою с билетом в руке, без шапки и без денег, грустный и одуроченный... В первый же день, в первый же выход сорвали у меня с головы шапку. И мне уже не до театра, прямо хоть вешайся.

Ко мне подошел Наби Кинчев, или Кишев, или Кочев, не помню точно его фамилии. Он представлялся черкесом, но, по-моему, был осетином или же лезгинном. А может быть, он и в самом деле был черкесом! Этот худой, сутулый, но подвижный и ловкий мальчишка считался среди своих сверстников злым и безжалостным ребенком. Водился с карманщиками, да и сам был не чист на руку. Держал в страхе мальчишек и постарше меня. Театр он любил до безумия, и если все вышеупомянутые качества счесть за добродетель,

Эту его любовь к театру следовало бы назвать не-
достатком.

Есть у тебя билет, спросил он меня, прекрасно
видя, что в руке я держу билет, который был нужен
мне самому. К тому же касса к этому времени уже
закрылась, люди разбрелись и, ясное дело, билеты бы-
ли распроданы.

Есть, говорю, у меня билет. Отдай мне его, ска-
зал Наби. Я отдал. Не дашь, отнимет, а затевать сейчас
драку не было никакого настроения, мне и без того
хватало неприятностей и досады.

— Один уже достал! — крикнул Наби кому-то и
кинулся на поиски второго билета. Прошелся по ве-
селямю назад и вперед, а потом куда-то исчез.

А я стою на том же месте. Теперь у меня нет уже
ни шапки, ни денег, ни билета. Тут на арене снова по-
явился Наби, размахивая пачкой билетов. У кого он их
отнял, кого обобрал, я не видел. Он снова направился
ко мне, собираясь обратиться с тем же вопросом, но
узнав меня, отстал. Невожиданно он обернулся ко мне
и спросил: что с тобой случилось? Как видно, лицо у
меня было слишком уж печальное.

— С меня сорвали шапку.

— Кто сорвал?

Если б я знал, кто, может и сам сумел бы вернуть
ее.

— Не знаю.

— Сорвали насовсем?

— Наверное...

Наби призадумался.

— Ну и народ, — сказал он, — нельзя из дому
выйти в шапке! Пстой здесь, никуда не уходи!

Куда я должен был идти! Домой бы я не пошел
без шапки, но и здесь до каких пор мог я оставаться
здесь?

Наби исчез и через пятнадцать минут принес мне
шапку. Я взял ее, надел на голову, словно заново ро-
дился, на душе полегчало, даже поблагодарить его
как следует не сумел.

Розо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

— Завяжи шнурки у подбородка, а то еще раз они снимут! — предупредил меня Наби, а сам снова выскочил на улицу. Кинулся то туда, то сюда, билеты он то ли раздарил, то ли выгодно распродав и снова вернулся в вестибюль. Видит, я снова стою на том же месте с шапкой на голове. Ушанка у меня есть, а денег и билета нет. Идти домой мне не хотелось. Я грустно смотрю на входную дверь театра. Вокруг уже никого, те, кто были с билетами, вошли, у кого их не было, ушли. Остались только Наби, я и два-три шалопая, укрывшиеся здесь от холодного ветра. Прозвенел последний звонок. Этот неприятный, пронзительный звон дошел до моего слуха, пройдя через несколько дверей, через всю гардеробную и в конце концов задребезжав в вестибюле.

— На, бери свой билет! — сказал мне Наби.

Это был не мой билет. Место было намного лучше, и стоил он, как видно, дороже.

— А как же ты? — заколебался я.

— Я достану! — ответил он, окинув безнадежным взглядом опустевший вестибюль; всучил мне билет, подтолкнул к входной двери, крикнув вслед, что себе он достанет.

Может, он и в самом деле достал себе билет, для Наби это было делом пустячным, только в то утро я не видел его в театре.

МОЙ БРАТИШКА ПОТЕРЯЛСЯ

МОЙ брат вышел со двора в полдень и пропал. Сквозь землю он провалился или испарился, мы не знали. Видно, он заблудился. Мы поздно спохватились и не смогли напасть на след. Он еще едва переставлял ноги и один, без посторонней помощи, вряд ли сумел бы уйти далеко за пределы территории, которую мы обследовали вдоль и поперек.

Вечерело. Наступили сумерки. Нам стало страшно, да и не только нам, встревожились и те, кто упорно твердил, что никуда, мол, он не денется, будет где-нибудь поблизости.

Соседи разделились на группы и пустились на поиски по всем направлениям. Мы с мамой пошли в

центр города, куда, по моему предположению, мой братишка никак не мог направиться... Я нехотя, слепой, шел за матерью, в голове у меня теснились черные мысли. Вспоминались страшные истории о похитителях детей, о жутких преступлениях, все, что выслушивал я по вечерам перед сном при тусклом свете керосиновой лампы от нашей соседки Мани Баркалая. В этом деле замешаны профессора и известные врачи, рассказывала она и даже называла фамилии. Эти рассказы волей-неволей застревали у меня в мозгу, будоражили, не давали уснуть. Правда, по утрам я уже ничего этого не помнил, но сейчас удесятились мои ночные страхи, которые независимо от меня, по-видимому, гнездились во мне. Маме, что и говорить, было не легче, хоть она и не признавалась в этом. И она почти бездумно, подгоняемая только лишь материнским чутьем, упорно шла вперед.

У родильного дома красивый, но необычайно бледный молодой человек разговаривал с двумя девушками.

— Вы не видели маленького ребенка? — обращаясь прямо к этому парню, спросила мама.

— Конечно видел, — ответил бледнолицый.

— Где?! — окрылилась мама, в глазах у нее засветилась искорка надежды.

— Как это где? Везде, где угодно, полно маленьких детей... — улыбнулся бледнолицый парень и подмигнул одной из девушек, той, которая, вероятно, нравилась ему больше. Девушки громко рассмеялись, но, спохватившись, тут же умолкли.

Не говоря ни слова, мы повернулись и пошли прочь.

Улыбаясь своему кавалеру и строя ему глазки, девушки пожурили его.

— А что я должен был сказать, — доносился до меня голос бледнолицего молодого человека, — когда меня спрашивают, не видел ли я ребенка, конечно видел, детей, слава богу, много, если не своих, то хотя бы чужих я мог видеть сколько угодно... — повторял он серьезным тоном.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

— Какой ты все-таки! — укоряла его одна из де- вушек, растягивая слова до невозможности.

— Ничего не поделаешь, таким уж родился.

При этих словах я остановился. Оглянулся. При- стально посмотрел на бледнолицего парня, который не видел меня в тот момент, не заметил устремленно- го на него взгляда, выражавшего такое неопишное отаращение, от которого содрогнулся бы любой.

Мы с мамой миновали центр города. Вышли на какую-то странную бесформенную площадь. Темне- ло. Словно призраки, куда-то исчезли прохожие, попа- давшиеся нам до этого на каждом шагу. Мама топта- лась на одном месте, умоляюще заглядывала в глаза поздним прохожим, но заговорить не решалась; не- смотря на мои уговоры, она и не думала возвращаться назад.

Пошли обратно, вот увидишь, застанем его дома, наверное его уже давно нашли и привели, говорю я ей, но она и слушать не хочет. У меня же после этих домыслов прошел страх, да и топтаться на этой без- людной площади надоело.

Мужчина в пальто с поднятым воротником, про- гуливающийся с собакой, посоветовал нам обратиться в милицию.

— А где милиция? — спросила вконец растерян- ная мама.

— Вот здесь, пожалуйста, — указал он.

И действительно, отделение милиции оказалось тут же, перед носом.

Собака какое-то время покрутилась около, об- нюхивала меня, виляла хвостом, но погладить себя по голове не дала, потом повернулась и трусцой побе- жала догонять хозяина. Я огляделся по сторонам, ма- мы нигде нет. Куда она сразу исчезла, думаю я и не- смело приоткрываю дверь отделения милиции.

Мама робким голосом рассказывает уютно устро- ившемуся у электроплитки дежурному, как маленький мальчик вышел из дому в таком-то часу и бесследно пропал. Я дергаю ее за локоть, зачем, мол, ты все это говоришь, разве не видишь, он здесь. Мама сердится на меня, дай, говорит, досказать, постеснялся хотя бы взрослых. Не слушает моих слов. Не видит сына, ко- торый безмятежно дремлет на стуле. Хотя что может

увидеть мама: ведь на стуле лежит моя огромная шапка (я и не думал, что она такая большая), а под ней спит мой братишка.

А бледнолицего парня, с которым мы повстречались у родильного дома, я после этого часто видел в институтском дворе и перед школой, всегда в обществе хотя бы двух студенток, но никогда — с одной. Это был красивый, но худой и очень бледный парень.

Как-то я видел его даже одного. В августовский зной. Он стоял в тени у каменной ограды и тяжело дышал. Вид у него был изнуренный, ничего не выражающим взглядом смотрел он в пространство. Мне стало жаль его. Я понял: из-за какой-то болезни не взяли его на фронт.

ОХ УЖ ЭТА ШАПКА!

В НАШ город прибыл передвижной зоопарк. На вокзале стояли вагоны, наполненные зверьми.

Привезли и слона. Он стоит прямо на платформе, можно увидеть его без билета, сообщил мне приятель, и я отправился, чтобы взглянуть на господина слона.

Сумерки только опустились. На Сакирской улице собралась толпа любопытных. Отсюда была видна платформа, и горожане, прижавшись к бетонным перилам, смотрели вниз. Я сунулся туда, сюда, продрался сквозь толпу и, свесившись с перил, увидел слона. Он оказался одновременно и меньше, и больше ожидаемого.

Слон был привязан за ногу к железному столбу перед товарным составом. Бренча толстой цепью, он с такой силой размахивал своим хоботом, будто не знал, как от него избавиться. Вокруг было разбросано сено.

Тусклый электрический свет привешенной к столбу лампочки бледным пятном падал на туловище слона. Слон не переставая раскачивался, возможно ему даже было холодно. Остановившись на мгновение, он недовольно посмотрел вверх на галдящую толпу зевак.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.



Затаив дыхание, наблюдал я это необычное зрелище. Что нужно было в нашем городе, в начале зимы, важному, чем-то озабоченному слону? Откуда его везли, куда возили этого обитателя книжки с цветными картинками о сказочных джунглях?..

Неожиданно кто-то сорвал с меня шапку и кинул слону. Вернуть ее не было никакой надежды, и я даже не оглянулся. И к чему было оглядываться, когда шапка моя, описав дугу над шеей слона, опустилась на землю к его ногам.

— Сбегай, принеси ее! — посоветовал мне кто-то.

— Оставьте этого ребенка, ему и своей беды хватит! — унял на какое-то время гогочущую толпу один, как мне показалось, святой человек, однако, как выяснилось, он не успокаивал людей, а, напротив, подстрекал их.

— Съест он шапку? — спросил какой-то ребенок своего отца так искренне, что, по-моему, привлек к себе внимание даже самого слона, который при звуке этого голоса лениво повернулся, посмотрел наверх в сторону собравшихся, угадал, как мне показалось, хозяина шапки, а того, кто сорвал ее, не разглядел в толпе и сердито отвернулся; посмотрел вниз на валявшуюся у ног шапку, скосив глаза уставился на нее, приподнял ее с земли, потом опустил опять на землю, наступив огромной ногой, рванул ее хоботом и, размахнувшись, далеко отшвырнул, вызвав шумный восторг публики. Шапка перелетела через крышу вагона и несколько железнодорожных путей. Я чуть не кинулся за ней следом. Минуту я прислушивался к смеху и одобрительным крикам зрителей, восхищенных ловкостью и находчивостью слона, а потом перелез через перила, обойдя на почтительном расстоянии слона, пересек платформу, прополз под вагоном с животными, где меня обдало резким звериным запахом. Ползком я перелез еще через несколько путей и, как на счастье, между шпалами в сорной траве и в щелбе нащупал что-то мягкое и ворсистое.

Странно, но шапка оказалась почти целой, а не изодранной в клочья, как я ожидал. Оторван был лишь один клочок. Я оглянулся назад, на платформу. Слон по-прежнему топтался на освещенной тусклым светом площадке, собирал хоботом остатки сена. Люди все



еще толпились на Сакирской улице у бетонного амфи-театра, смотрели в мою сторону. Теперь их, видно, не столько интересовал слон, сколько судьба моей шапки. Я же, укрывшись за вагонами, уже не пожелал снова выходить на арену и задами направился в сторону дома. Всю дорогу я отряхивал и чистил шапку, а дома, после того как все улеглись спать, зашил ее толстыми нитками при свете керосиновой лампы.

Ежедневно по возвращении из школы я отправлялся в город, останавливался у наскоро устроенного зоопарка и, прильнув лбом к забору, подолгу смотрел в щель на доброго слона, не съевшего мою шапку, которую теперь я на всякий случай придерживал рукой.

«Ты должен носить ее до окончания школы», — предупредили меня дома, но я доносил ее лишь до конца войны. Это произошло в поезде, в середине весны, когда я и сам уже собирался ее выкинуть. Едва поезд тронулся, кто-то сорвал у меня с головы эту шапку, и я наконец успокоился.


— Того типа, который сорвал с тебя шапку, — сказал мне спустя несколько лет один парень, живший на Сакирской улице, — поколотили ребята с нашей улицы. Когда ты спустился за ней к слону, тогда его и поколотили.

Наверное, он сказал правду. В их районе было принято колотить друг друга даже тогда, когда на это не было никакой причины.

КНИГА С КАРТИНКАМИ

ИДЕТ по улице мальчик в коротких штанишках. В руках у него раскрытая книга с картинками. Идет он совсем один, ни на кого не смотрит, никого не замечает. Весь ушел в свою книгу. Медленно, не спеша направляется в мою сторону, подходит все ближе и ближе. Я стою напротив Сакирской улицы, возле стекольного завода. Чуть ниже — заброшенная часть вокзала; недействующие железнодорожные пути, пропитанные мазутом шпалы, сорняки и грязный

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.



щебень между рельсами. Мальчик в коротких штанишках неторопливо, размеренным шагом приближается ко мне. Я не отрываясь смотрю на раскрытую книгу. Яркие сияющие краски еще издали режут глаз.

Решено. Я отниму у него эту книгу! Сейчас все обирают друг друга. Хватают все, что не так лежит. Можешь отнять — отними, забери, вырви прямо из рук. Хоть пуговицу оторви у того, у кого нет ничего в руках и на голове. Бей, колоти, доведи до слез, до рева. Закон джунглей царит на земле. Тогда я, кажется, не знал про «закон джунглей», но, наверно, придумал бы его сам, в таком я был настроении. Каких только способов вымогательства не существовало в то время. Чего только не придумали для того, чтобы большой обобрал маленького, сильный — слабого. Невозможно перечислить все, остановлюсь лишь на одном. Самым удобным методом, как видно, был принцип «одолжи», поскольку им у нас пользовались чаще всего. Заключался он в следующем.

Человека, которого ты собирался ограбить, следовало вначале попросить, одолжи, мол (неважно, что ты хотел у него отобрать); если он отдавал тебе эту вещь (неважно какую), ты должен был ее взять и не возвращать, в случае же отказа надо было заморочить ему голову бесконечными «одолжи, одолжи». Не подействует — отними, сказав при этом «верну», но, разумеется, безо всякого возврата. Вот вам начало и конец всей этой простейшей, на первый взгляд, манипуляции.

Сердце у меня сжалось, как только я представил себе, какой крик и рев поднимет мальчишка в коротких штанишках.

— Подойди сюда! — скажу я ему.

— Нет... — ответит он вызывающе и попятится назад.

— Подойди, все равно никуда от меня не убежишь!..

Он останавливается. Стоит, не смеет бежать. Я подхожу к нему вплотную.

— Что это?

— Книга.

— Одолжи мне ее.

— Не одолжу.



— Одолжи.

— Нет. Не одолжу.

— Тогда посмотрим, чья возьмет, — и так далее,

в таком роде.

Потом слезы, рев, борьба. Наконец пинок в зад — и дело с концом. Пусть себе ревет сколько влезет. И все-таки представить всю эту картину довольно трудно. Как много, наверное, приходилось страдать бедным разбойникам, прежде чем выйти грабить на большую дорогу!..

Мальчик поравнялся со мной и остановился под моим пристальным взглядом.

— Подойди!

Он подошел.

У него светлое круглое лицо, короткие, гладко зачесанные каштановые волосы; глаза синие, взгляд открытый. Он смотрит на меня и улыбается.

— Что это у тебя?

— Книга.

— Одолжи!

Отдает.

Сбоку на поясе у него болтается маленькая сабля. Я только сейчас заметил ее. Отбираю и саблю. Мальчик смотрит на меня с улыбкой. Он рад, что и я заинтересовался его книжкой и саблей, хочет передать и мне свое восхищение. А книжка действительно прекрасная. Вернее, это не книга, а альбом с рисунками и непонятными для меня надписями. Боже, какие это были удивительные рисунки!

Держу я эту чудесную книгу в руке, а саблю под мышкой. Разглядываю картинку, яркие краски радуют глаз, рисунки светятся, согревают меня и пугают, уносят далеко, в какой-то неведомый мне мир.

— Это твоя сабля?

— Моя.

— Хороша! — оценил я саблю и повесил ее ему плечо.

— И книга тоже твоя?

— Также моя.

— Это очень хорошая книга! — сказал я ему, возвращая книгу.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

Мальчишка пошел дальше, через несколько шагов он оглянулся, улыбнулся и, как мне показалось, при задумавшись продолжил путь, не понимая, отчего расстроенный и озабоченный, застыл на одном месте посреди дороги.

Я и сейчас отчетливо вижу явившегося мне тогда светлолицего мальчика... И порой, когда сатана вдруг потянется к незримой части моего существа, я снова и снова вижу перед собой явившееся мне однажды лицо, и что-то в душе моей вмиг озаряется, озаряется, как раскрытая под солнцем книга с картинками.

ИНДИГО, БРАТ, ИНДИГО

ИНДИГО Квернадзе остался во второй раз в четвертом классе, и я, таким образом, поравнялся с ним. Мы подружились; сблизились после того, как сделались одноклассниками, а то я и раньше знал его, и не только его самого, но и всю его семью — братьев и родителей. Очевидно, в силу семейных обстоятельств Индиго смотрел на жизнь практически, все его помыслы были сосредоточены на том, где бы раздобыть денег. Однажды ему удалось заразить этим и меня. Он взял меня в компаньоны с тем, чтобы закупить товар и выгодно его реализовать, а на вырученные деньги сколотить себе капитал. Мы сложились, каждый внес в предприятие свой пай. Что касается меня, то я эти деньги взял из дому, а где их добыл Индиго, я не знал. Дома я сказал, что деньги нужны на танк, что без этих денег меня не пустят в школу. Однажды вы уже то ли построили, то ли купили танк, сказали мне дома. Я ответил, что тот танк был маленький и что теперь нам нужен большой. Таким образом, при помощи всяческих уловок и уговоров мне удалось получить деньги, сопровождаемые вздохами и попреками. Мы с Индиго (он тоже добавил немного денег) купили синьку — пятьдесят пачек или чуточку больше. В целом ряду магазинов, расположенных в неказистых зданиях напротив вокзала, ничего кроме этой синьки, расчесок и пуговиц не продавалось. Из всей этой дребедени мы предпочли синьку. Можно продать ее в пять раз дороже, сказал мне Индиго, а

на эти деньги приобрести еще что-нибудь, перепродать, потом купить, и так далее. Был конец сентября, и по подсчетам Индиго к концу года мы должны были разбогатеть.

Товар, то есть синьку, Индиго отнес к себе и надежно спрятал в подвале. Через неделю я спросил его, ну что, мол, будем делать дальше. Постепенно, говорит, все распродам. В конце месяца он отозвал меня в сторону и с озабоченным лицом сообщил следующее: синьку, всю до единой пачки, съела собака. Собаки в то время с голодухи ели даже ткемали, но чтобы собака съела синьку, такого я еще не слышал. Было в этом что-то неправдоподобное, но что поделаешь, пришлось поверить. Лично мне эта синька была ни к чему, пусть хоть собака ее ест, пусть хоть вода уносит. То, что Индиго не продал синьку (и кто бы ее стал покупать?), я знал точно.

Как-то, играя в мяч в Патаридзевском саду, я вдруг увидел преподавательницу русского языка и нашу классную наставницу, одетых в синие демисезонные пальто, которые они еще до войны приобрели в «торгсине». Постукивая каблучками, поднимались они вверх по мощенному булыжником подъему. Интересно, что им здесь нужно, удивился я в тот самый момент, когда они вдруг заметили меня.

— Иди-ка сюда! — позвала меня наставница.

Я подошел.

— Ну что, играешь?

— Приготовил уроки и играю.

— Можно подумать, у тебя голова пухнет от уроков!

Учительница русского не проронила ни слова. Как видно, ей жали туфли, она стояла, согнув одну ногу, и опиралась на руку своей спутницы. Наставница спросила меня, где живет Индиго Квернадзе.

— Не знаю, — ответил я, не моргнув глазом.

— Как это не знаешь! — возмутилась она.

— Где-то тут, недалеко... не знаю точно... — растерялся я и почувствовал, что краснею.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

Всего в каких-нибудь десяти шагах отсюда жила Квернадзе, дом их был виден из Патаридзевского сада. Мне ничего не стоило показать им дорогу, но по всему было видно, что учительницы направлялись к Индиго не с добрыми намерениями.

— Значит, не знаешь.

— Знаю, но не точно...

— Скажи хоть приблизительно...

Я стал беспомощно озираться.

— Ты тоже хорошая птичка! — сказала мне учительница русского языка по-грузински и остановила первого встречного, который направил женщин прямо к калитке квернадзевского дома.

При виде учительниц Индиго спрятался за сложенными у дома бревнами. Он, оказывается, прекрасно слышал, как учительницы ругали неуча, невежду, невоспитанного дегенерата Индиго Квернадзе. Ничего, говорили они, из него не выйдет, человеком он не станёт, останется навсегда невеждой, нечего ему делать в школе, место его — в зоопарке.

Мать Индиго плакала, старшие братья грозились наказать его (можно подумать, что сами они занимались, не поднимая головы), младшие плакали из-за чего-то, не относящегося к делу, а Индиго, слушая все это, не терял времени зря: он собирал затверделые комья земли и, как выяснилось позднее, складывал их в кучу у калитки.

Как только учительницы вышли за калитку, Индиго покинул свое убежище, занял удобную позицию и давай бомбить непрошенных гостей. Те припустили вниз по спуску, а Индиго кинулся вдогонку.

Из Патаридзевского сада я смотрел, как спасались бегством учительницы. Хватая друг друга за рукава «торгсиновских» пальто, мчались они вниз по спуску.

На следующий день Индиго Квернадзе, как ни в чем не бывало, явился на занятия. Его поволокли в учительскую. Через окно я видел, как его распекали. Индиго молчал. Хлопал ресницами с таким удивленным видом, будто он и понятия не имел, о чем шла речь...

... — Не узнаешь? — хриплым голосом спросил меня небритый водитель такси после того, как я, удобно усевшись, откинулся на спинку сиденья.

Как же не узнать, конечно же, я узнал Индиго Квернадзе. У кого еще, кроме него, мог быть такой упрямый, чуть бездумный, удивленный взгляд!

— Как жизнь?

— Да так...

— Совсем нас забыл?

— Почти.

— Разве так можно?!

— Нельзя, конечно, но что поделаешь...

— Да, бывает... Не то что ты, сам я, хоть и живу здесь, не могу выйти вечером в город. Мечтаю просто так постоять у входа в парк. Один день работаю в две смены, на следующий день либо отсыпаюсь, либо пью, а время бежит, не поймешь как. До трех часов ночи гоняю по городу, надо же выполнить план, и в дом что-то должен принести, иногда так отключаешься, что кажется тебе, будто ты участвуешь в каком-то представлении. Сколько действий осталось мне сыграть, подсчитываю в уме...

Мы замолчали. Говорить уже вроде не о чем, и я, чтобы прервать неловкое молчание, припомнил вышеописанный день. Помнишь, говорю, что ты тогда на-творил.

— Как же не помнить... потому-то я и получил такое чудесное образование, — улыбнувшись, задумчиво ответил мне Индиго.

МЫЛОВАРЕННЫЙ ЦЕХ И УВАЖАЕМЫЙ ДАНИЭЛ

В ОДИН прекрасный день к нам заявила делегация. Двое мужчин и одна женщина — высокая, худая, с черной сумкой на длинном, до самых колен, ремешке. Она очень громко разговаривала. Возможно, была глухая. Глава делегации, низенький, улыбающийся мужчина средних лет, хриплым, но внушительным голосом руководил своими спутниками. Женщина, обращаясь к нему, называла его батоно Даниэл.

Они намеревались снять у нас нижний этаж недостроенного дома и, как потом признались, открыть

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.



там на несколько лет мыловаренный цех. Пообещали оштукатурить стены, провести электричество, а кроме того платить аренду и постоянно снабжать нас мылом. Условия были довольно соблазнительные и выгодные.

— Поработаем у вас до окончания войны, а после — дай нам бог здоровья, а вам счастливо оставаться в вашем доме и пользоваться на радость этажом, который мы приведем вам в полный порядок, — произнес уважаемый Даниэл и закурил.

Мы промолчали, не знали, что ответить. Пауза затянулась, и уважаемый Даниэл неожиданно обернулся ко мне и спросил, в каком я учусь классе и как занимаюсь, но ответа не дождался.

— У меня дочка, его ровесница... — сказал он маме и снова перешел к делу. «Пробудем здесь до окончания войны», — твердил он, но при этом так тщательно разглядывал и обмерял все вокруг, что можно было подумать одно: либо у него не было ни малейшей надежды на окончание войны, либо он задумал что-то, что обеспечивало ему полную гарантию остаться здесь навеки.

Мама колебалась, не говорила ни «да», ни «нет». Не могла она решить этот вопрос одна, без хозяина дома, каким бы выгодным ни сочла такое соглашение. Сказала, что напишет супругу на фронт, если письмо дойдет до него и если он ответит, что не против, то и она даст свое согласие.

— К тому времени, уважаемая, и война кончится, и наше мыло уже никому не понадобится... — улыбнулся Даниэл.

— А пока, — продолжала мама, — я посоветуюсь с родными и близкими.

Мыловары ушли от нас со смутной надеждой.

Соседи, родственники и просто доброжелатели не советовали нам связываться с Даниэлом. Говорили, что дело это кляузное, ведь артель все-таки государственное предприятие, а не частная лавочка, и кто, мол, знает, чего доброго, останутся они насовсем здесь и отберут у вас этот этаж. А кроме того, предостерегали нас советчики, разведут грязь и весь дом пропахнет мылом. Однако решайте сами, поступайте так, как вам подсказывают сердце и рассудок. Конечно, они были

правы, но отказаться от мыла и ежемесячной солидной платы за помещение было трудно.

— Что делать? — спрашивала меня мама.

Со мной уже считались, прислушивались к моему мнению, но я действительно не знал, как быть. Пускать в дом мыловаров или не пускать? А между тем уважаемый Даниэл приходил к нам через день и рисовал нам все новые и новые соблазнительные перспективы, стремясь убедить нас в необходимости этого взаимовыгодного мыловаренного предприятия. Он вел со мной деловые переговоры, считая меня юридически хозяином дома, и окончательно сбивал с толку, предлагая мне время от времени папиросу.

Ответное письмо от отца все не приходило. Даниэлу не терпелось получить ответ; мы же пребывали в полной растерянности. Неизвестно, чем бы закончилась вся эта история, если бы наше сепаратное соглашение не расторглось вдруг само собой. Артельщиков-мыловаров арестовали, и вопрос об аренде нижнего этажа нашего дома отпал и даже на время был предан забвению.

Ровно через год после этой истории я и мой товарищ Асланишвили неожиданно очутились в зале суда. Процесс над Чониа Уклеба, сказал кто-то в школе, и мы сломя голову помчались в суд. То ли процесс уже закончился, то ли мы перепутали зал, только Чониа нигде не было видно, но мы все же решили остаться.

— Побудем здесь немного, Чониа, наверное, скоро приведут, — шепнул мне на ухо Асланишвили.

Мы уселись позади, в уголке, держа в руках школьные сумки. Чониа все не появлялся, зато немного погодя среди мужчин, сидевших на скамье подсудимых, я узнал уважаемого Даниэла, бледного и исхудавшего, с чем-то вроде узбекской тубетейки на голове. Перед ним были разложены бумаги, целый ворох бумаг, он внимательно их просматривал, что-то отмечал карандашом, что-то подчеркивал, время от времени снимал очки, пристально смотрел в сторону членов суда, прикладывал ладонь к уху, говорил, что ему не слышно, и по несколько раз заставлял свидетеля и истца повторять одно и то же, после чего кивал

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

головой, мол, все понятно, снова надевал очки и опять что-то писал и писал.

Оказалось, что мы пришли на последнее заседание по нашумевшему делу, что на процессе этом судили не одних только мыловаров, и в тот день все ждали оглашения приговора. Во время речи прокурора в зал набилось множество народу, но мы с Асланишвили и не подумали уйти.

— Уважаемый Даниэл приготовил целый доклад, — сказал кто-то из сидящих в том углу зала, где устроились мы с Асланишвили, — он выступит от имени всех, задаст жару истцу и прокурору. Увидите, это будет настоящая сенсация!

Все вокруг разом загалдели, и, как мне запомнилось, никто не высказал противоположного мнения. Судья же довольно строгим и резким тоном призвал нас к порядку.

Помню, как щедро, не скупясь, распределил прокурор предполагаемые сроки заключения, намного превышающие ожидаемые. Пришлось успокаивать публику. Кого-то даже попросили покинуть зал.


— Сейчас выступит уважаемый Даниэл, интересно, как вы потом запоете! — выкрикнул с места мужчина, который предсказывал сенсацию.

И действительно, Даниэл выступил первым; первым и последним. Как только дали ему слово, в зале воцарилась мертвая тишина. Он встал, надел очки, собрал разложенные перед ним бумаги, спокойно, не торопясь, сложил их стопкой, снова снял очки, обвел взглядом членов суда и отказался от последнего слова, сказал, что ему нечего возразить.

В бытность мою студентом — помню, в тот день было затмение солнца — я увидел Даниэла на плато фуникулера. Он продавал цветные стекла и дешевенькие солнцезащитные очки в лотке, открытом специально для этого дня.

«Купите, а то не смогу выполнить план», — словно пугая этим кого-то, обращался он к встречным и поперечным. На плато было полно народу, несмотря на то, что до затмения оставалось еще часа два.

Было жарко. Даниэл время от времени обмахивался тубетейкой неопределенного цвета.



— Кто придумал это затмение, скажи мне на милость? — спросил он меня после того, как толпа покупателей пателей поредела, и улыбнулся, обнажая пожелтевшие от никотина зубы.

ВАНИА ХОМАСУРИДЗЕ

ХОТЬ и большой, но всего лишь один магазин обслуживал улицы Габададзе и Сакирскую, Первый и Второй переулки, поселок стекольного завода, весь район, простирающийся от вокзала до Малхазовского сада. Над магазином жили Кераташвили. Рядом с магазином был склад, потом — аптека. Из аптеки был виден дом Амашукели, погреб этого дома использовали то как винную точку, а то как приемный пункт утильсырья. Погреб был перегорожен на две неравные части, в большей из них помещался, как я уже сказал, пункт утильсырья, в меньшей — сапожная мастерская.

Уже позднее у перекрестка двух улиц открыли хлебный и плодоовощной лоток, раньше же, почти до самого конца войны, этот единственный магазин торговал одновременно хлебом, овощами и другими несуществующими продовольственными товарами.

Магазином целых четыре года заведовал некий Ваня Хомашуридзе, именно Хомашуридзе, а не Хомасуридзе. Многие путали эти две фамилии, что бесспорно было ошибкой.

Продавцы сменялись, одни уходили, другие приходили, а Хомашуридзе оставался на своем месте, оставался тем же Хомашуридзе, кем был всегда. Этого краснолицего крикливого пришельца из другого района местные жители считали за своего и не особенно прорабатывали за глаза, если не восхваляли, то и не ругали. Наверное, он был неплохим человеком, иначе разве стали бы терпеть брань и проклятья покупатели, никому ничего не прощавшие. А бранился он действительно безбожно, ругал тех, за чей счет жил сам и содержал целых две семьи. Но, если говорить правду, разорялся он не без причины. Каждый божий день на

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

подступах к магазину покупатели устраивали такой переполох, поднимали такой невообразимый гвалт, что, глядя на все это, раскричался бы даже немой. Несмотря на то, что все продавалось только по карточкам, вместо очереди здесь царила толчея.

И, представьте, несмотря на все это, людей не покидало веселое расположение духа, они развлекались в этом шуме и гвалте. Затемно занимали они места у входа в магазин, дрожали от холода зимой, изнемогали от зноя летом, но все терпели.

Вставало солнце, зимнее солнце, мороз отступал, с крыши кераташвилевского дома начинало капать, становилось теплее, толпа начинала колыхаться, настроение постепенно менялось; становилось веселее, раздавались шутки, даже смех. Как только открывались двери магазина, все пытались одновременно войти внутрь, все лезли вперед, не соблюдая никакого порядка; времени и энергии на это уходило гораздо больше, чем следовало.

И тут раздавался голос Вани.

— ...Ничего не продаю, ничего не получите, пока не будет порядка!!! — орал он, тараща красные от недосыпания глаза, и требовал от людей невозможного. Прокладывая себе дорогу богатырскими плечами и не менее богатырским животом, пробирался он к прилавку и продолжал кричать оттуда, размахивая кулаками.

— ...Бродяги несчастные, в очередях выросли и не научились в них стоять?! — вопил он, покрасневшись, с набухшими жилами на шее. — Если не научились, так я вас научу!

Увы, ничему не успевал он их научить. Единственное, что вообще удавалось ему в этом ежедневном светопреставлении, так это пропустить без очереди двух-трех своих знакомых, после чего он как-то сразу успокаивался на некоторое время. Потом, когда опять ему становилось невмоготу выдерживать натиск покупателей и отпускать товар, все начиналось сначала:

—Чтоб у вас ни врагов, ни близких не осталось, что вы за народ, и откуда вы только взялись, в очереди родились, в очереди выросли и неужели не научились стоять в этой проклятой очереди?!

Молча выслушивали эту тираду с привычными про-

улятьями измученные, обремененные мыслями о завтрашнем дне, закутанные в старье женщины.

— Умрет он, бедняга... — произнесла одна из них, глядя на раскрасневшегося до корней волос Хомашуридзе.

— Молодец Ваня, молодец, — остановившись поодаль и засунув руки в карман плаща, крикнул Чониа Уклеба.

— Иди отсюда, займись делом! — ответил ему Ваня совершенно нормальным тоном и снова начал кричать.

— Мне бы его здоровье и деньги! — помечтал Чониа Уклеба, внимательно оглядел беспорядочную толпу и, решив, что здесь ему делать нечего, направился в сторону вокзала.

Ваня жил от нас довольно далеко и, конечно, считался бы чужаком в нашем районе, не работая он здесь в магазине. В магазине он работал, кричал и ругался с покупателями, в магазине отдыхал, пил и играл в нарды, когда нечего было продавать, он и спал в магазине, а однажды, тайком, привел туда даже священника и крестил соседского ребенка. Целых четыре года он здесь жил и кричал, а в один прекрасный день за ним пришли и увели его, раскрасневшегося и безмолвного. Он как раз собирался перейти на другую работу, но кто-то, какой-то посторонний человек, донес на него, направил к нему ревизию, и Ваня попался. У него нашли недостачу (что тут удивительного?), сняли с работы и арестовали. Позднее прошел слух, будто он умер в тюрьме, но это оказалось неправдой.

Спустя лет десять я видел его у моста. Он шел по тротуару, почему-то держась за стенку, направлялся в сторону Архазльской горы. Я его узнал и в то же время не узнал. Он это или нет? Долго гадал я, ни до чего не додумавшись. Я помнил, что жил он где-то в том самом районе, куда шел, и решив, что наверное это все-таки он, обрадовался.

Несколько лет назад площадь на перекрестке улиц Габададзе и Сакирской начали расширять за счет частных дворов. А в прошлом году, в один из дождливых

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

дней, разрушили и магазин, который продолжал варьировать служить населению нашего района.

Одна за другой рушились стены старого здания, облако пыли и извести смешивалось с частым дождем и лохматым туманом. Лениво оседая, медленно падала пыль на мокрую землю.

Невыславшиеся, отправлявшиеся на работу соседи, прохожие останавливались поодаль и наблюдали, пожевывая, как рушилось здание магазина.

Из толпы зрителей я невольно выделил одного одетого в выцветшее пальто военных времен. На голове у него была плюшевая ушанка с завязанными подбородка шнурками. Стоял он и смотрел на свой магазин, на свидетеля своего бывшего величия и падения. Откуда он пришел, где он был все это время, что делал?

Никто его не узнал: люди его поколения переселились отсюда — иные в другой район, иные в другой город, а многие в другой мир. А те, кто был помоложе, и те, кто поселился здесь недавно, о нем не слыхали.

Стоял на одном месте Ванна Хомашуридзе; стоял молча, ни на кого не глядя. В полдень он куда-то исчез, потом снова появился и уже до вечера никуда не уходил. На следующий день он снова пришел и стал в том же самом месте. И хоть было не особенно холодно, шнурки ушанки у него были по-прежнему завязаны у подбородка. Вспомнилось ему, наверно, как гомонила здесь толпа во время войны, как дребезжали от его криков оконные стекла; и вот он стоит и смотрит, как гибнет этот самый его магазин.

На третий день я чуть свет выглянул в окно. Противно моросило. Было холодно. От приближающейся зимней стужи сжались еще зеленые листья деревьев. Старый допотопный трактор тархтел и трясся у развалин магазина, по частям крушил остатки фундамента и сравнивал их с землей.

Промокший насквозь Хомашуридзе в одиночестве стоял у бывшего магазина и думал о чем-то своем.



ИВЛИАНЭ был благообразный, рыжебородый, лохматого вида старик. Летом и зимой ходил он в поношенном толстом ватнике, из которого со всех сторон торчали клочья ваты. Через плечо у него была перекинута сложенная вдвое или втрое толстая веревка, какую употребляют грузчики, и называл он себя носильщиком. Окружающие же окрестили его «вором, крадущим кур». Не знаю, как насчет кур, а то, как стащил он на базаре у крестьянина сыр, я видел собственными глазами. Если бы мне об этом рассказали, я бы, возможно, и не поверил. Как-то раз он и кусок мяса уволок и сунул себе за пазуху. Попрошайничеством он, наверное, добился бы большего, но у каждого свои понятия о гордости и самолюбии.

— Ивлианэ, кур крадущий! — крикнет ему, бывало, кто-нибудь.

— Это я краду кур?! — не скрывал удивления Ивлианэ.

— Да, ты крадешь.

— Я же тебя прибую! — спокойно и уверенно грозился Ивлианэ.

Слова «я же тебя прибую» были у него всегда наготове.

Иной раз он, сняв с плеча веревку, нехотя замахивался ею и повторял:

— Я же тебя прибую, несчастный!

Голос у него был громовой, хоть он и не особенно его повышал.

— Ох, как я тебя прибую... — напоследок бормотал он себе под нос, потом старательно сматывал веревку, перекидывал ее через плечо и шел дальше.

— Кому носильщика, носильщика кому! — выкрикивал он время от времени.

Как-то раз вижу, как женщина, шедшая с базара на вокзал, услышав его предложение, завопила благим матом:

— Носильщик, носильщик, сюда!

Было видно, что она опаздывает на поезд. С трудом волооча пустую корзину и полупустой мешок, она

Резо Чайшанли. Ветер доносит музыку.

восприняла появление носильщика как божью милость. Помогите мне дотащить мешок до вокзала, взмолилась она, обращаясь к Ивлианэ.

— А корзину? — спросил Ивлианэ.

— Корзину я сама.

— Что у тебя там лежит? — заинтересовался почему-то Ивлианэ.

— Ничего, она пустая.

— Пустая? — Ивлианэ недоверчиво заглянул в корзину и уставился на мешок.

— А здесь?

— А здесь кукуруза.

— Кукуруза? — Ивлианэ поскреб свою рыжую красивую, коротко подстриженную бороду и за доставку мешка на вокзал потребовал сто рублей, ни больше, ни меньше. На эти деньги можно было купить килограмм белого хлеба. Женщина обезумела, но носильщик не сбавил цену ни на пятак. Женщина не знала, как ей быть. И денег было жаль, и на поезд она опаздывала, нервничала, озабоченно озиралась вокруг в надежде увидеть другого носильщика, но поблизости никого не было. В конце концов она решила, что лучше расстаться со ста рублями. Только поспешно попросила она.

— Об этом можешь не беспокоиться!.. — обнадежил ее Ивлианэ, снял с плеча веревку, не спеша разматал ее, поднял с земли мешок, потом опустил вниз, поправил его, немного постоял, задумался, долго качал головой и заявил, что не сможет его понести.

— Даю тебе сто рублей, чего тебе еще надо?! — чуть не расплакалась женщина.

— Дело не в ста рублях... — сказал Ивлианэ и начал сматывать веревку.

— А в чем же?.. — спросила женщина и, кажется решила добавить еще червонец.

— Очень тяжелый... — Ивлианэ перекинул веревку через плечо.

— Да там всего полпуда кукурузы!.. — не поверила своим ушам женщина.

— Полпуда или не полпуда, неважно, главное, что тяжело нести... — Ивлианэ почесал голову и еще раз, как бы между прочим, взглянул на мешок.

— Тогда хоть корзину донеси!



— Что в ней лежит?

— Ничего, один пустой бурдюк, вот и все.

— Пустой?

Ивлианэ стал шарить рукой в корзине. Чего он в ней искал, изумленная женщина так и не поняла.

Убедившись, что в корзине нет ничего, кроме пустого бурдюка и клочка сена, Ивлианэ стал тщательно осматривать ее снаружи, оттуда, отсюда, нажал на нее коленом, встряхнул.

— Нет, не смогу ее нести, очень она большая!

Женщина с трудом взвалила на спину мешок и, волоча за собой корзину, согнувшись, поплелась к вокзалу.

Ивлианэ изумленным взглядом проводил женщину. Потом он поправил веревку на плече и, крича «кому носильщика», зашагал вниз по спуску. Долго еще звучал его чуть надтреснутый, громовой голос:

— Кому носильщика, носильщика кому!

Кто знает, сколько подобных Ивлианэ-носильщиков попадалось нам в жизни, и тебе, и мне, мой читатель...

ПСЕВДО-ИВЛИАНЭ

ТОТ мужчина был очень похож на Ивлианэ. Он был такой же рыжебородый старик, одетый так же, как настоящий Ивлианэ, и тем не менее это был не Ивлианэ, а совсем другой человек. Если ему очень надоедали, он говорил, что он не Ивлианэ, после чего из него уже слова нельзя было вытянуть. Он был согласен быть и Ивлианэ, и вором, крадущим кур, лишь бы не выдать своего настоящего имени.

Вот кто действительно скрывал свое происхождение, кто берег доброе имя своих детей и родственников. Я знал, кто он на самом деле, знал, из какой он деревни. Он не гнушался ни работы, ни купли-продажи и ни (к чему скрывать!) попрошайничества. Я никогда не видел его с протянутой рукой, но в угоду окружающим он наговаривал на себя всякие небылицы и брал за это деньги. Рассказывал, что когда-то изна-

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

силывал собственную невестку. Однако в действительности не было у него ни брата, ни сына и ни невестки. Он был отцом четырех замужних дочерей.

Жил он в нашем районе один-одинешенек, в полуразрушенном заброшенном доме напротив сада Патаридзе. Иногда он посещал свою деревню, родной заброшенный дом, живущих в разных селах замужних дочерей. Привозил оттуда фрукты, яйца, вареную кукурузу и всякое другое. Продавал все это по бешеной цене. А сам питался луком, чесноком, размоченными в воде черствыми хлебными корками.

Куда ты деваешь деньги, спрашивали его. Откуда, говорил он, у меня деньги, четверых дочерей мне надо содержать, того гляди, живьем меня сожрут. Врал он, конечно, дырявый пятак и то нельзя было у него выпросить. Если находил кривую подкову, нес ее продавать на базар, яблоко, упавшее с чужого дерева на улицу, подбирал, вытирал и тоже продавал. Ради денег на все шел и ходил по земле с именем попрошайки и вора, крадущего кур.

Большие деньги он накопил, говорили о нем окружающие и сами же в это не верили. И действительно, это скорее было похоже на шутку, нежели на правду. Трудно было представить, что у этого несчастного, опустившегося человека могли быть какие-либо сбережения.

Годы шли, псевдо-Ивлианэ не изменял своим привычкам и порядкам. Война заканчивалась, мир преобразался, а псевдо-Ивлианэ оставался таким, каким и был. Порой он впадал в задумчивость, становился грустным, охота шутить и скоморошничать у него пропадала.

— ...Не Ивлианэ я, слышишь, отцепись, иди своей дорогой, займись своим делом! — сердился он.

Люди уже не голодали. Ивлианэ же по-прежнему питался луком, чесноком и черствыми хлебными корками.

Как-то, приблизительно года через два после окончания войны, деньги, обесцененные войной и разрухой, менялись.

— Ну что ты теперь должен делать? — спрашивали этого самого псевдо-Ивлианэ.

— А что я должен делать, у кого есть деньги,



пусть тот и беспокоится, — натянуто улыбаясь, отвечал растерянный и подавленный Ивлианэ.

— Почему не меняешь деньги, чего ждешь, — его ворили другие.

— Откуда у меня деньги, если б они у меня были, я бы их потратил на детей, внуков и на себя, не ходил бы такой обтрепанный.

В те дни Ивлианэ был какой-то обалдевший, разговаривал сам с собой. Облаченный в драную шинель, сидел на солнцепеке. «Не Ивлианэ я», — огрызался он на встречных и поперечных.

Через месяц после денежной реформы я поездом отправился в деревню. На платформе Саличхиа в вагон поднялся псевдо-Ивлианэ с деревянным чемоданом в руках. Остановился в конце битком набитого вагона. Через какое-то время ему уступили место, и он сел у окна.

— Что везешь в чемодане, Ивлианэ? — спросил его стройный молодой мужчина в сапогах и макинтоше, по-видимому участник войны. Он стоял, прислонившись к дверям вагона, и жевал погасшую сигарету.

— Деньги, — ответил Ивлианэ.

— Так много? — засмеялся парень в макинтоше.

— Разве это много? — хлопнул рукой по чемодану Ивлианэ, сощурил старческие глаза и испытующе оглядел окружающих.

— Деньги старые или новые? — спросил его кто-то.

— Старые.

— Хороши же твои дела!

Мужчина в макинтоше оказался разговорчивым, и между ним и Ивлианэ завязалась беседа. Сидящие вокруг люди развеселились. Расскажи про невестку, пристал к нему один. Псевдо-Ивлианэ отказался рассказать эту историю при таком скоплении людей, засмутился и отодвинулся к окну. На минуту воцарилась тишина, но вскоре речь зашла о денежной реформе и вытекающих из нее последствиях. «Вчера был последний день, — говорили вокруг, — кто не успел обменять — не получит и десятой доли, деньги эти превратятся в бумажки и использовать их можно только вместо обоев».

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

— Через десять лет деньги опять поменяются и старые купюры снова войдут в силу, — заявил псевдо-Ивлианэ. Слово «купюра» он, конечно, не произнес, но смысл сказанного был приблизительно таким.

— ...Через десять лет снова переменится все, каждые десять лет луна поворачивается и все меняется, меняются деньги и кровь в жилах людей. Через десять лет все новое станет старым, а старое новым, как прежде... — бормотал себе под нос Ивлианэ, почесывая голову и бороду.

Я понял, что чемодан псевдо-Ивлианэ был действительно набит деньгами. Представив себе, какое там количество денег, я разволновался, заерзал на месте и пересел поближе к Ивлианэ. Пассажиры приумолкли: уйдя в свои мысли и заботы, они забыли про псевдо-Ивлианэ. Через несколько остановок вагон наполовину опустел. Я остался один с псевдо-Ивлианэ. Он сидел призадумавшись, раза два бессмысленно на меня взглянул и неожиданно спросил:

— Рубля у тебя нет?

— Нет.

— Новыми.

— Ни новыми нет, ни старыми... — Денег у меня действительно не было.

— Ты случайно не там живешь, где строится большой дом по соседству с Циквадзе?

— Да, я там живу... — ответил я, изумившись. Правда, он видел меня каждый день в том районе, но то, что он мог знать, где именно я живу, было для меня неожиданностью.

— Думаешь, не отнимут у вас этот дом?

Я ответил, что не знаю.

— Или отнимут, или обменяют. Сам видишь, все меняют, все отнимают... С Циквадзе ты знаком?

— Конечно, знаком.

— А то, что Грамитон мой крестник, ты не знаешь?

— Какой Грамитон?

— Арджеванидзе.

Какое отношение имел Грамитон к семье Циквадзе, я не понял. Одни жили в одном конце, другие в другом.

— По-твоему, я — Ивлианэ?



- Нет, не Ивлианэ.
- А знаешь, кто я?
- Знаю.

— Все знаешь? — осклабился Ивлианэ и сразу притих. Уставился в одну точку. Только я подумал, что он меня уже не замечает, как он снова попросил у меня рубль новыми деньгами. Нет у меня рубля, объяснил я ему вторично.

Лицо у псевдо-Ивлианэ окаменело. «От правды до неправды одна пядь», — сказал он мне на одной из остановок.

Мы помолчали. Вдруг он снова заговорил, стал рассказывать какие-то притчи и прибаутки.

— Хоть я и не Ивлианэ, но кое-что и я понимаю в жизни. Через десять лет все переменится, луна повернется, но дела наши все равно не пойдут на лад, — сказал он в завершение и сошел с поезда — не простившись, не оглянувшись.

В открытое окно вагона смотрел я, как псевдо-Ивлианэ, ссутулившийся, как-то сразу одряхлевший, тащился по выжженной зноем дороге с огромным чемоданом в руках.

Говорили, что старые деньги он сжег в конце своего двора. Это было на второй или на третий день после нашего путешествия.

Больше псевдо-Ивлианэ уже не появлялся в нашем городе.

Когда окончил он свою роль, прожил ли еще десять лет — до того самого дня, пока луна повернется обратной стороной, я не знаю.

ИВЛИАНЭ III (БИРКАДЗЕ)

РАСПРОСТРАНИЛСЯ слух, будто немецкий самолет сбросил бомбу на плотину РионГЭСа, бомба, миновав плотину, угодила в огород Оделиадзе, но не взорвалась.

Дыхание приближающегося фронта коснулось города.

Прошедшей ночью шел дождь, и земля отсырела. К утру распогодилось, начало палить солнце, и влага

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

постепенно испарялась. День был прозрачный, безветренный. Ни один листочек не шевелился на деревьях.

Мой старший двоюродный брат приехал из деревни. Дороги вокруг плотины были перекрыты, и из Мцванэ-квавила в Сапичхиа ему пришлось пройти пешком. — Бомбу, говорят, сбросили на Оделнадзе, — произнес он с непривычной для нашего уха деревенской степенностью, и драной шапкой отер с затылка пот.

Видно, слухи эти были не напрасными.

В полдень заглянул к нам Эрмиле Кохреидзе. Сказал, что по постановлению правительства во дворах должны быть устроены бомбоубежища. Сказал, что город поделен на районы, районы на секторы, секторы на семьи и что несколько семейств общими усилиями должны построить, самое малое, одно бомбоубежище, где во время воздушных тревог сможет укрыться мирное население.

То, что положение было нешуточным, мы и сами чувствовали, а Эрмиле Кохреидзе окончательно нас взбудоражил. Каждому слову этого человека верили, даже если бы он врал, а тем более — когда все сказанное было правдой, и поэтому соседи в тот же вечер стали собираться и совещаться. Фактически это были собрания женщин и стариков. Наш сектор проявил наибольшее рвение, выбрав место для убежища в тот же день; мы быстро взялись за дело и тут же поняли, что поспешили.

Убежище вырыли во дворе Ивлианэ Биркадзе. По правде говоря, вырыл его сам Ивлианэ, один, без посторонней помощи, и тем не менее каждый внес в строительство свою лепту. Лично мы уступили для этого (на время) балку каштанового дерева и подпорку.

Не знаю, как остальные, но мы считали, что наше дело, как говорится, в шляпе — или в убежище. По сигналу «воздушная тревога» все мы согласно инструкции Эрмиле Кохреидзе должны были стремглав кинуться в бомбоубежище, при отбое же высыпать обратно и дожидаться следующих приказаний или директив.

Для предварительного сбора укрывающихся в бомбоубежище жителей мы выбрали двор Ивлианэ, но решение это не было единогласным, голоса разделились, и, как выяснилось позднее, расположение бом-

боубежища на одной плоскости с местом сбора жигелей оказалось нецелесообразным. — Пусть и то, и другое будет у меня во дворе, — сказал Ивлианэ. У него была репутация человека угрюмого, и подобного великодушия никто от него не ожидал. — Как случилось, что уступил он свой двор, — удивлялись вокруг и хвалили его за это, говорили, что человек познается в беде. Заметим кстати, что до самого конца войны он так никого и не пустил в убежище и сам ни разу туда не спустился.

Что касается меня, то я часто заглядывал внутрь блиндажа и с сожалением смотрел на нашу искусно обожженную каштановую балку, заточенную во мрак и сырость.

Ивлианэ был охранником, уборщиком, управляющим и фактическим хозяином этого убежища. Жалованья за это он не получал и не требовал, ничего особенного не приходилось ему делать в убежище, хотя вообще работы у него было по горло. Заботился о семьях ушедших на фронт зятя и сына; и хоть не пускал никого в убежище, долг свой выполнял с честью. Был он скупым и щедрым, завистливым и добрым, неумолимым и милосердным; зла и добра в нем было достаточно — пожалуй, как и во всех других.

Люди отличаются друг от друга лишь внутренними и внешними индивидуальными свойствами, в принципе же все они созданы по одному образу и подобию. Им стало бы невозможно смотреть друг на друга, если бы не были они несчастными и смешными в зависимости от того, кто в какой ситуации и при каких обстоятельствах, как, каким образом проявил бы свою натуру, проявил бы два противоположных и все-таки неотделимых свойства человеческой души — добро и зло. Порок, если он не вызван болезнью (душевной или физической), порой — недостаток, а порой и достоинство, поэтому наличие его можно считать прощательным. А раз это так, почему же все взъелись на Ивлианэ и бранили его за глаза? Когда строилось бомбоубежище, на него нахвалиться не могли, а потом стали поносить. Чем он не угодил людям? Работал днем и ночью и, не говоря уже о другом, содержал семьи

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

двух фронтовиков. Своего не уступал, но и чужого не брал. Он, может, и не протягивал руку помощи (хотя были и исключения), но и сам не обременял своих горестями—никого никогда не беспокоил. Скупой на слова, замкнутый, неприветливый и неприступный, он никого не обижал зря, не помню, чтоб он взъелся на кого-нибудь без причины. Бывал он даже ласковым, но всегда — страшно упрямым, и это свойство проявлялось в нем сильнее всего.

Так или иначе, жил этот Ивлианэ для себя или для других — сказать трудно. Не может человек жить только для себя или только для других, не сможет, даже если очень этого пожелает. Ивлианэ хотя бы убежище построил для нашей округи, большая часть, правда, ни разу не видела этого убежища, но ведь и нужды в нем ни разу не возникло, в случае же необходимости Ивлианэ, я думаю, повел бы себя иначе.

У него был земельный участок за городом, на самом берегу Риони. Эти участки раздали во время войны семьям фронтовиков. Ивлианэ Биркадзе, как я вам уже говорил, работал днем и ночью, не разгибая спины, от зари до зари, и пожинал плоды своего труда. Затемно выходил он из дому с мотыгой на плече и возвращался поздно вечером, еле волоча ноги. Он не просто обрабатывал землю, он знал в ней толк. Зимой были у него другие занятия. Даже если бы его окружили роскошью, он все равно нашел бы себе работу. Брался он, можно сказать, за все. Даже шил из старья что-то и продавал на базаре.

Когда его не бывало дома, мы, детишки, играли у него во дворе и иногда даже спускались в оставшееся без присмотра бомбоубежище. Я смотрел на нашу каштановую балку, обреченную на темноту и сырость, и думал, что если бы даже в убежище забросили мою ушанку, я не спустился бы туда за ней, не будь этой каштановой балки. Очень я не любил это сырое, полное улиток убежище, к тому же Ивлианэ строго-на-строго запрещал нам спускаться туда, и горе тому, кого он заставлял внутри.

Опасность приближения фронта миновала нас, и за это время одни не успели закончить, а другие не успели начать постройку бомбоубежищ. Некоторые же еще до окончания войны упразднили их, и лишь одно

наше убежище, в котором мог бы разместиться целый штаб армии, продолжало существовать.

Кончилась война. Бомбоубежище оставалось в неприкосновенности, и наша каштановая балка продолжала опираться на наш же столб. Она постепенно чернела и, чего доброго, начала бы гнить из-за этого самого Ивлианэ Биркадзе.

Вернулись с фронта сын и зять Ивлианэ. Зять остался жить у Ивлианэ, а сын отделился.

Зять устроился на хорошую работу, округлился, и деньги у него появились, и имя. Стал влиятельным человеком. Влиятельность даже превысила его интеллектуальный уровень, но и он никак не смог заставить тестя ликвидировать бомбоубежище.

— Оно еще пригодится, — упрямо твердил Ивлианэ, — может, я не доживу до этого, но помяните мое слово, его время еще придет.

Зять купил машину и решил построить гараж в том самом месте, где находилось убежище. С первого взгляда это было самое подходящее место, хотя, если говорить правду, можно было строить гараж и где-нибудь в сторонке, ну хотя бы в конце двора, где позднее построили баню.

Ивлианэ не мог отказаться от убежища, а зять от гаража, и они не на шутку схлестнулись. — Пока я жив, не разрушу, не упраздню это убежище, — твердил старик. — Оно мне и впредь пригодится (будто бы до этого оно ему хоть раз пригодилось!), будет так, как я говорю. — Настаивал он на своем уже не из природного упрямства, а из старческого упорства, но зять не желал этого понимать, и дочка Ивлианэ, Маро, кроткая, преданная семье женщина, оказалась между двух огней, не знала как быть, стать на сторону мужа или на сторону отца, вступить за правду или за упрямство. Никакие уговоры не помогали, ни отец не хотел ее слушать, ни муж.

Ивлианэ окончательно замкнулся в себе. Ходил молчаливый, угрюмый, даже с соседями перестал разговаривать. Каждое утро с мотыгой на плече (он и этим раздражал зятя) выходил он из дому и дотемна

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.



работал на теперь уже отобранном у него земельном участке.

Время брало свое, и человек с мотыгой в городе выглядел так же непривычно, как фазтон, как арба, как это самое наше убежище, из которого несло плесенью.

Старику же в довершение всего стала изменять память. Возвращаясь с работы, он уже несколько раз терял дорогу к дому. Однажды его привел домой керосинщик, а в другой раз — дежурный вокзала.

Ранней весной Ивлианэ утонул в Риони. Долго искали его и нашли через две недели. Его далеко отнесло водой, и труп был так обезображен, что, сказать правду, толком не смогли установить, он это или не он. По каким-то признакам вроде бы это был он и в то же время — не он. Близкие пребывали в нерешительности, не знали, как быть. И только зять утверждал, что это он и никто другой. Его, говорил он, я узнаю не только утонувшего, но и вареного. В конце концов близкие решили, что это он.

— Брода он искал, оказывается, на реке, кто-то видел, как он шел через островок, течением сбило несчастного с ног, уже не было у него силы в коленях от старости... — причитала, плакала над ним дочка.

Брода он искал или мелководья, трудно установить, ясно одно, что человек его возраста вряд ли стал бы переходить в одежде Риони, если, конечно, это был действительно Ивлианэ.

«А может быть и жив мой отец, не впервые же он пропал, может быть мы не его оплакиваем!» — вырвалось на одной из панихид у Маро.

С большими почестями похоронили Ивлианэ.

Справили пышные поминки. Денег собирать не стали, и люди остались довольны, хотя нашлись и брюзги, которые позволили себе сказать, будто похоронили они чужого покойника. Спустя какое-то время один из них даже принес весть, будто кто-то видел собственными глазами Ивлианэ на базаре в Самтредиа.

Эти разговоры вскоре прекратились. А потом забыли и самого Ивлианэ. Зять до сороковин разрушил блиндаж, вернул нам балку и столб, дай бог ему здоровья, построил на том месте прекрасный гараж и отпраздновал обручение дочери. Судьба потомства

Ивлианэ Биркадзе сложилась так, как следовало. Каждый нашел свою дорогу в жизни. И только дочка ни как не могла расстаться с образом отца. В зимнюю вьюжную ночь, когда ветер хлестал по заснеженным веткам, когда все члены семьи спали спокойным сном, кроткой, набожной женщине слышался голос отца.

...Ивлианэ стоял у калитки и просил, чтоб его впустили. Не узнавал дома, который выстроил своими руками, чистый ухоженный двор казался ему чужим, и он снова уходил, и снова возвращался...

Встревоженная женщина смотрела сквозь покрытые изморозью, дребезжавшие от вьюги оконные стекла, вслушивалась в скрип обледенелых веток, всматривалась в тускло освещенную улицу, в тени деревьев и искала глазами отца, которого не было. Откуда-то издали в завываниях ветра слышался ей его голос.

Холодный ветер стучал железной калиткой, дребезжали оконные стекла, свистели телеграфные провода...


Где-то совсем близко блуждал Ивлианэ; он уходил и снова возвращался, всматривался в свой собственный дом и не узнавал его.

ТАСИА

В ПОЛДЕНЬ во дворе появились отец с дочерью: сухощавый представительный мужчина с закрученными сверху усами и смуглая худенькая девчонка с длинными косами и круглыми, широко распахнутыми глазами. Звали ее, как оказалось, Тасией. В то лето она поступила в институт, и они хотели снять для нее комнату.

— Мы не сдаем комнату, — сказали мы им и подсказали, куда обратиться по этому вопросу, но энергичный крестьянин медлил с уходом. Присел на скамью, отдохнул, размотал башлык, освежил лоб. Как оказалось, он еще издали обратил внимание на наш недостроенный дом и пришел сюда не только затем, чтобы снять у нас комнату.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.



— Было бы неплохо, если бы вы продали мне одну пустую, ну хотя бы нижнюю комнату, — сказал он, — сам я ремесленник, сделал бы все своими руками и был бы спокоен за дочь. А то до каких же пор можно жить на квартире. К тому же дома у меня еще две дочери-погодки.

Получив отказ, он не стал торговаться и уговаривать, перевел разговор; оказался солидным собеседником. Порассказал многое о своей деревне, коснулся и войны, и неурожая, порассуждал о людях, об их выносливости, и под конец все-таки заговорил о дочери. Тревога за нее, как я заметил, не покидала его.

— Такая она растяпа и глупенькая, что и не знаю, как с ней быть, если не пристрою ее в надежную семью, не смогу в городе оставить, — сказал он в заключение.

Мы устроили Тасию на квартиру в соседнем с нами доме, в довольно славную четырехугольную голубятню, которая прекрасно укрывала от дождя и солнца, но это уютное птичье гнездо ничем не отапливалось. Тасия была довольна. И с чего ей было, говоря по правде, быть недовольной. Жила она себе спокойно, никто не ломился к ней в дверь, никто ее не беспокоил. Ходила она в институт, из института возвращалась обратно в свою комнату, потом заходила к нам. Эта деревенская девочка с длинной косой подружилась с моей мамой. До поздней ночи просиживала она у нас и была спокойна. Отец часто навещал ее, привозил из деревни продукты и уезжал каждый раз обеспокоенный.

— ...Смутное, — говорил он, — сейчас время, за мужчину и то приходится беспокоиться, не то что за девчонку да еще за такую дурочку и глупышку. Боюсь, чтоб не связалась с кем-нибудь, присмотрите за ней, ради бога, — просил он.

Тасия, оказывается, была обручена. Неделию спустя после ее обручения жениха призвали на фронт. Всего два письма получила Тасия от своего суженого и больше никаких вестей от него не было. А те два письма и Тасия, и мы знали наизусть.

Долгими зимними вечерами при свете камина и керосиновой лампы читала она нам письма и стихи, которые оставил жених на память своей невесте. Сти-

хи были переписаны набело фиолетовыми чернилами в две общие тетради.

— Это почерк жениха? — спрашивали Тасию.

— Да, жениха, — гордо заявляла Тасия и сравнивала стихи с письмами, чтоб доказать их идентичность.

А почерк был прекрасный. Подобного почерка я не встречал в своей жизни. Глядя на эти рукописи, я мечтал стать не поэтом, а каллиграфом. Боже, научи меня такому письму, — молился я по ночам.

О чем же были стихи, которые заставляла нас слушать Тасия долгими зимними вечерами? О любви, об измене, об обманутых надеждах, о чайной розе, о цветке магнолии, об угасающем дне, о ранней осени, об опавших листьях, о несбывшейся мечте.

Как только опускались сумерки, Тасия приходила к нам с письмами, стихами и кукурузной мукой, замешивала тесто, выкладывала его на сковороду и, пока мчади пеклось, читала нам стихи или же рассказывала разные истории, путая вымысел с правдой. Круглые, широко распахнутые глаза ее мерцали при тусклом свете тлеющего огня. Перевернув мчади, она начинала обципывать корку длинными тонкими пальцами. Разговаривая, она отдирала корку с одной стороны, потом снова переворачивала мчади и принималась за другую, и так, переворачивая то на одну, то на другую сторону еще не испекшееся мчади, незаметно для себя уничтожала она и застрашную долю.

— Да я же съела его! — изумлялась она потом и опять продолжала беседу. Со слезами на глазах вспоминала она ушедшего на фронт возлюбленного, деревню, отца, сестер, и постепенно дремота одолевала ее, но трудно было расставаться с каминном; при мысли о холодной комнате и холодной постели Тасия морщилась.

Бывало, к нам наведывались гости из деревни. Приезжали и останавливались на ночлег родственники, родственники родственников и их соседи. Женщины высыпали на стол остатки не проданных на базаре фруктов. Извинялись, что ничего лучшего не смогли нам привезти. И того не надо было, говорила хозяйка и поила их чаем с барбарисом вместо сахара. Пе-

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.



ред сном гости говорили, чтоб им не стелили постелей, что они просто постелят свои шерстяные шали на пол и лягут. Но разве могли мы их уложить на пол, да еще без постели. Приходилось потесниться, и в такие ночи две наши комнаты напоминали общие вагоны поезда.

Перед сном женщины вязали, неторопливо беседовали, по-деревенски, с убедительными интонациями в голосе. Говорили о хвостатой звезде, о том, что повернется луна, о громе, грянувшем среди зимы, и тому подобном. Говорили, что в таком-то году (в каком именно, никто никогда не помнил) красный царь победит белого царя. Будет заключен мир, а через два года начнется засуха, земля растрескается и расползутся повсюду змеи, ящерицы и скорпионы.

Примостившись у камина, побледневшая Тасна куталась в свои косы, круглые глаза ее расширялись от удивления и интереса... «Так написано в Эфоте!» — продолжали женщины.

Что за книга была этот Эфот, я не знал. Говорили, что это книга, усыпанная изумрудами, книга, в которой написано все, предопределяющее будущее, это была книга судеб, которую никто никогда не видел, но кто-то от кого-то слышал, что тот видел того, кто знаком был с тем, кто читал эту книгу, и т. п.

«У кого, интересно, находится эта книга», — думал я, ничуть не сомневаясь в ее существовании. Я был убежден, что человеческая мудрость была сосредоточена где-то в одном месте. Пророк, конечно, предвидел все заранее. Кто удостоил бы меня этой книги? Неужели я так никогда и не увижу ее? Хотя бы раз, хотя бы издали увидеть эту усыпанную изумрудами книгу мудрости, книгу судеб!..

«В Эфоте сказано!..» — доносилось до меня сквозь сон.

Тасию, разогревшуюся у тлеющего огня, одолевала дремота, глаза ее слипались. При мысли о холодной комнате и холодной постели она вздрагивала. «Не согреется моя постель до самого утра», — говорила она и нехотя брела к себе, удивленная, испуганная, преследуемая видениями красного и белого царя, хвостатой звезды и повернутой луны; закутывалась в оде-

яло и долго-долго не могла согреть выстудившуюся постель.

Еще до окончания войны Тасиа вышла замуж.

«Интересно, что она скажет жениху, если он вернется», — многозначительно переглядываясь, говорили соседские женщины. Действительно, было интересно, как собиралась Тасиа встретиться с вернувшимся с войны женихом!

...Но жених не вернулся. Остались только две пожелтевшие тетради стихов и затерявшееся в глубине удивленных тасиных глаз бледное воспоминание об ушедшем на войну парне, называвшемся ее возлюбленным, и тлеющая печаль о цветке магнолии, об угасающем дне, о чайной розе, о ранней осени и опавших листьях...

Конец первой части

Лейла МЕСХИ

НОЧЬ В ХРАМЕ

●
Рассказ
●

Перевод Дашила
ЛЖАНАШВИЛИ

«СТАРИК, кажется, за-
дремал, пора

уходить»... — поднявшись со стула возле кровати, парень на цыпочках направился к двери и только собирался приоткрыть ее...

— Зураб! — донесся до него слабый голос.

Парень обернулся. С тощих плеч Ионы сползло одеяло. Близорукие глаза лихорадочно блестя. К усеянному бисеринками пота широкому лбу прилипли седые пряди.

— Никак не припомню... — старик жалобно взглянул на парня.

— Что, батона Иона?

— Эпитафию... эпитафию Давида.

«Совсем рехнулся...» — подумал Зураб.

— Успокойся, Иона, спи... поздно уже, — сидящая у кровати пожилая полная женщина в ситцевом платье в белую горошинку поправила больному одеяло.

У женщины под глазами черные тени, две бессонные ночи вконец измотали ее.

— По преданию принадлежит Арсену Икалтойскому... — продолжал больной.

— Помню, батона Иона, помню...

— Да? Тогда скажи... — обрадовался старик и смежил веки, приготовившись слушать.

—...«Я царей собрал двенадцать хлеб вкусить
в Начармагеви,

Турок, персов и арабов вышиб за свои пределы,
Рыб из вод Имерских вольно пропустил

в Амера воды,

Так свершив, почил я в бозе, лег под
сумрачные своды...»

Голос Зураба умолк.

Иона лежал неподвижно, словно прислушиваясь к далекому голосу, потом начал:

— «Рыб из вод Имерских вольно пропустил в
Амера воды...»

— Спи, Иона! — прошептала Цаца и глазами показала Зурабу на дверь: уходи, мол.

От запаха лекарства, от духоты у Зураба кружилась голова. Не оборачиваясь, он открыл дверь и вышел. Стремительно пробежал веранду и остановился у лестницы. У него было такое чувство, словно он долго был под водой и только сейчас, в эту минуту, вынырнул. Все вокруг плыло, качалось.

Вечерний сумрак окутывал окрестности.

В глубине двора светлел храм Гелати.

Зураб сбежал по лестнице, пересек двор и направился к развалинам академии. Но, приблизившись к ним, почему-то передумал, взмошел на пригорок и сквозь листву дикого инжира и плюща глянул на ярко освещенный Кутаиси. Раскинувшийся перед ним город переливался огнями. Он остановил свой взор на зеркальной глади Цкалцитэлы. Стремительным был бег реки. За оградой кто-то разложил костер, и ветерок доносил до Зураба запах горелой щепы и подсохшей земли. В лесу заливался дрозд, веселыми трелями будоража окрестности. Прозрачная туманная дымка ползла по склону.

Зураб сел прямо в траву. Неприятный терпкий запах молоканки и дикой лебеде щекотал ноздри.

Некоторое время он сидел неподвижно, погруженный в раздумья.

...Сегодня суббота. Ребята, наверное, гуляют по городу, группами стоят у гостиницы, рассказывая раз-



ные разности, а ты сиди здесь и любуйся на своего старика.

Вчера дважды вызывали к нему скорую помощь: умирал, а чуть отдышался и ни в какую — зачем, мол, больница, грипп это, пройдет.

Сколько таких фанатиков помнит этот храм... Сегодня утром старик просил жену — откинь, говорит, занавески, на храм гляну. Спятил он, что ли, тридцать лет ежедневно смотрит и все не насмотрится! Раньше каждый вечер за ними приходил автобус из музея и ночевали они дома, а как заболел старик, ни сам отсюда ни ногой, ни Зураба не отпускает. Хорошо еще, два дня назад Бичико, шофер, привез к нему жену, и теперь она ухаживает за больным... Но что из того? Зураба он все равно не отпускает...

И какая нелегкая принесла его в музей, разве не было другой работы? В прошлое воскресенье приезжал сюда однокурсник, Тенгиз. В исполкоме, говорит, работаю. Сижу в своем кабинете — чисто, красиво — и принимаю посетителей. Знаниями он и прежде не блистал, но очень ли они нужны для того, чтобы принимать людей! Одним совет, другим правду врежет, одних успокоит, других обложит, вот и вся недолга, — а время, глядишь, и идет. Диплом историка везде пригодится, — ввернул на прощание Тенгиз. Да-а. Знал он еще одного, Чимакадзе, тот на два года раньше них окончил исторический факультет, а сейчас работает директором лесопилки. Где пила, а где история! А он сам? Втемяшил себе в голову: научная работа, диссертация!.. «Выскочку-голодранца ни бог не жалует, ни человек», — эта пословица точно о нем. За целый год ни строчки не написал... Так и пройдут годы... Эта монашеская жизнь вконец подрубит под корень... «Научная работа требует отшельнической жизни», — часто вместо приветствия говорит Иона. И вправду, велика ли разница между монахами, некогда жившими в Гелати, и им? Спит он в том же доме, где они бдели ночами, на той же самой деревянной лавке. Да и еда у него наперед заказана — холодный чурек, соленый сыр и выращенный на монастырском огороде салат.

Недавно, обходя села, Иона где-то выискал зерно древнеколхидской пшеницы. Весной он посеет это зер-



но. Потом, наверное, и хлеб печь начнет... Эх, как чертям все это, лучше о чем-нибудь другом думать. До города десять километров. Интересно, сколько времени надо, чтобы пешком пройти этот путь? Часа полтора, наверное... А может, и больше... Мать, наверное, сидит у окна, смотрит на улицу. Его встретят выстиранное белье, обед, тысячу раз подогретый...

«Наука требует душевных мук», — вдалбливает ему Иона. Куда уж больше — неделями он мать не видит, о прогулках, развлечениях да о девушках и говорить не стоит... А среди туристов, бывает, такие девчата встречаются, что ночами кажется, постель под ним — как горячие уголья. Позавчера один за другим четыре автобуса подъехало. В одном из них сидела девушка — глаз не отведешь. Очи, как у кинцвисского ангела. А уста?!

Зураб рассказал ей все, что знал о гелатской мозаике. Глаза ее излучали такой свет, что он совсем ошалел. Когда вышли из храма, она попросила показать гробницу Давида Строителя. «Врата гробницы грузинские воины привезли из Дербента», — он и это не забыл сказать. А потом? Потом она села в автобус, махнула разок на прощанье ручкой и фьють! Словно и не было на свете лебединой шеи и очей кинцвисского ангела. Вот поди и спи спокойно после этого. «Меня распяли, дорогая. Все мечты исчезли разом»¹. Он встал и медленно пошел к домику, в котором жил.

Он ни разу не обернулся и не посмотрел на храм, что величием своим, размахом и пропорциями поражал и очаровывал.

Маленький домик из экларского камня с затворенными дверями и окнами, с прикрытыми ставнями выглядел холодным и нежилым. Здесь он жил, здесь были его рабочий кабинет и спальня. На столе книги, на стене — фотоаппарат и портрет Галактиона, на деревянной лавке — спальный мешок. Камин, полный золы, и немытая со вчерашнего дня посуда...

¹ Здесь и далее — цитаты из стихов Галактиона Табидзе в подстрочном переводе.



В нижнем ящике стола покоится черновик неоконченной диссертационной работы.

По ту сторону ограды кто-то запел хриплым голосом. Не понять — поет или рассказывает песню. Это Михако, их сотрудник со ставкой в шестьдесят рублей, охранник или что-то вроде того. Тут же он и живет, за оградой. Есть у него и жена — Назиброла, высокая, пышнотелая женщина, и трое смуглых, как мать, мальчишек. Женщина она трудолюбивая, целый день на ногах, смотрит за детьми и за мужем, и весь дом на ней, и бесчисленная живность. Сегодня утром она пришла навестить Иону. С мужем, с детишками. Ребята остановились у двери. Михако подошел к больному, лицо озабоченное, не знает куда деть свои грубые, короткопалые руки. То в карман их засунет, то заложит за спину. Наконец взялся за шапку, которую держал под мышкой, и давай мять ее. Да и Назиброла не очень смелой выглядела, стыдливо уселась на краешке стула, предложенного ей Цацой, и горестно смотрела на больного. Потом глянула на мужа, словно спрашивая: как по-твоему, не умрет?.. И действительно, потный, еле дышащий Иона мог напугать любого. Немного освоившись, Назиброла кинулась к сыновьям, вытянувшимся у двери, взяла у них тяжелую корзину и подтащила ее к столу. Достала из нее хачапури, испеченные в каменных кеци. Они были чудо как хороши, корочка местами потрескалась и оттуда просачивался топленый сыр. За хачапури последовала отварная курица, за ней жареный цыпленок, за цыпленком — острый ткемалиевый соус и горячие чуреки. Затем достала фрукты и сухофрукты, черное вино «аладастури». На столе уже не было места. По комнате поплыли аппетитные запахи. «Вам это понравится, батона», — Назиброла оторвала у курицы ножку, обмакнула в ткемалиевый соус и поднесла к губам больного. Тот был послушен, как ребенок. С трудом проглотил пару кусочков. Назиброла не унималась, и он выпил глоток вина. «Аладастури», это, говорит, как лекарство. В конце концов то ли увещевания помогли, то ли пища подействовала благотворно — пришел в себя Иона, даже шутливо пожурил Назибролу: «Что же ты, милая, наделала — всю свою живность загубила?». Засмеялась Назиброла, в лад ответила

хозяину: «Вы здоровы будьте, батона Иона, а это...» — потом на минутку умолкла и с печалью добавила: — Чего скрывать... Только что машина задавила мою породистую индюшку, такая была, что вдвоем с трудом поднимали... Михако хмыкнул, успокаивая жену: «Не горюй, жена, главное — голоду ей успели отрубить».


И вот поет теперь Михако, видать, породистую индюшку вином запивает.

А так, между нами говоря, довольно ленивый человек наш Михако. Целую неделю чинит ограду у входа в церковь и никак не починит. Прибьет пару досок, поднимет несусветный грохот, глядите, мол, как я стараюсь, а потом бесшумно исчезнет. А то для виду явится в своей соломенной шляпе в виноградник. Но чуть припечет полуденное солнце, поминай как звали — шасть из виноградника в благодатную прохладу марани. Чтоб привести его в блаженное состояние духа, достаточно пары стаканчиков доброго вина. «Это церковь меня приворожила, а не то — четыре профессии у меня, что я тут потерял...» — разглагольствует он.

Одно время он тесал камни на кладбище, но бросил, не мое, мол, это дело. Затем поступил учеником к одному жестянщику у Цепного моста. Жестянщик за полгода обучил Михако на совесть мастерить домашние печки. Но и у него не прижился Михако — от грохота, говорит, мозги болят, ушел и оттуда. Некоторое время слонялся без дела по улицам, заложив руки в карманы — душа не лежала возвращаться домой. Потом устроился официантом в ресторане «Гелати». И начались его мучения... Он считал эти три месяца самой тяжелой порой в своей жизни.

Не спросите, а почему он оттуда ушел? В один прекрасный день в ресторане «Гелати» был кутеж. Гуляли городские «тузы». Один толстяк с лицом цвета раннего помидора потребовал боржом. Михако подал, а тот — газа, говорит, нету. Он проворно принес вторую бутылку — теплая, говорит. И только клиент собирался забраковать третью бутылку, как Михако грохнул ее об пол. С разинутыми от страха ртами повскакали гуляки с мест — не бомба ли разорва-

Лейла Мехки. Ночь в храме.




лась в ресторане?! Как виновника дебоша Михако упрятали на пятнадцать суток в каталажку. Вернулся оттуда домой и как отрезал — в город ни ногой. Вот они — три профессии Михако, а что касается четвертой, то, бывало, проведет он своими шершавыми пальцами по усам, озорно подмигнет серыми глазами и самодовольно изрекает: четвертая профессия — это суметь сделать трех мальчиков. Чтобы дальше не распространяться о приключениях Михако, скажем, что живет он безбедно. Близ ограды стоит его двухэтажный кирпичный дом. Заложенного еще его отцом виноградника на семьсот лоз «аладастури» вполне хватает ему на приготовление доброго вина. Чего еще надо человеку! Жена — работяга, ребята в школу ходят, а сам он перекинет за спину двустволку и раз десять на день обходит ограду храма.

Он и ночами не забывает своих обязанностей — спит чутко, как заяц, наострив уши. Для чего такие предосторожности, спросите вы? Ведь все ценное, начиная с Хахульской иконы и кончая епитрахилью священника, уже давно увезено в столицу и надежно хранится в сейфах. Что еще осталось? На стенах — фрески, на потолке мозаика. Ни то, ни другое даже при великом желании унести нельзя.

Так думает и Михако, когда он немножко «подмухой» и его тянет почесать языком, но нужно отметить, что чувство ответственности прочно вошло в его плоть и кровь. Ежедневно он несколько раз обходит церковный двор, церкви святого Георгия и святого Николая, собирает в кучку все бумажки и сжигает их вместе с опавшими листьями. Когда бывает наплыв школьников или студентов, Михако прячется где-нибудь в кустах, и горе тому, кто попытается сделать надпись на стенах храма. Он хорошо помнит, как однажды Иона отругал мальчишек, пытавшихся нацарапать свои имена. С тех пор Михако повторяет слова, сказанные тогда Ионой: «Храм оберегать надо... Это наш долг...»

Зураб глядел на город. Он весь горел и переливался огнями. По склону ущелья Цкалцитэлы змеится дорога. На ней светятся фары автомобилей, мчащихся к городу.



Все машины шли в сторону города, словно какая-то незримая сила притягивала их. Чем же все-таки город манит людей? Пылью, шумом? Сиди здесь и дыши свежим воздухом... Никто не побеспокоит, никто не помешает. Хочешь — пиши диссертацию, нет — и за это никто шею не намылит. Служи людям. Повышай знания. Изучай английский. Ведь сюда приезжает много экскурсантов, в том числе и иностранные гости.

Прошлым летом в Гелати приезжали немцы, пожилая супружеская пара — профессора Берлинского университета. Гид рассказывал, что, осматривая Никорцминду, женщина плакала от восторга. В Гелати они внимательно рассматривали фрески главного храма. Мужчина в очках с толстыми линзами что-то записывал. Щелкали фотоаппараты. У композиции «Хвала сыну божьему» одна деталь привлекла их пристальное внимание: в одной из групп среди седых мудрых старцев они заметили юношу и сказали Зурабу: «А он похож на вас». И теперь он, вводя экскурсантов в храм, часто непроизвольно бросает взгляд на фреску, на смуглое лицо и умные глаза юноши, его темные усы и бороду. Правда, сходства с собой он никакого не находит, но ему кажется, что он где-то видел это лицо.

Стоп, с чего он это вспомнил? Да, минуту назад он советовал сам себе: овладевай иностранными языками... Но стар он уже учиться... На прошлой неделе встретил друга детства, и тот хвастал, что стал отцом двоих детей. А он вот стареет. Домой приходить неохота. Родители пристают: жениться, мол, пора.

— Вчера на рынке встретила нуцину дочку, — издалека начинает мать. — Что за девушка, глаз не оторвешь!..

Зураб отмалчивается, а мать продолжает плакаться: — Какая же я несчастная, что у меня родился такой же сын, как у Нифадоры!

Зураб и сейчас не знает, что случилось с этим сыном Нифадоры, но, бесспорно, хорошего было мало. Видно, остался тот старым холостяком, без жены и детей, и бедная Нифадора легла в землю, так и не познав счастья понянчить внука...

Лейла Мехри. Ночь в храме.



Совсем неподалеку журчит вода. Гелатский родник!.. Сколько веков журчит он так... Нескончаемым шумом его полна ночь... Зурабу захотелось встать, плеснуть в лицо ледяной водой, чтобы хоть немного освежиться и успокоиться.

Далеко в глубине леса прокричала сова — одиноко и тоскливо. От этого крика или от нависшей тишины ему захотелось шума, музыки, смеха. Он понял, что желание это порождено страхом, страхом одиночества. Это было мгновенной вспышкой, вызванной то ли криком совы, то ли тишиной.

Все еще под впечатлением этих мыслей он встал, расправил онемевшие ноги. Тем временем краешек неба, там, где купол храма смыкался с кронами деревьев, окрасился в пепельные тона. Разгоняя мрак, поднялась луна — полная, щедрая и важная.

Зураб чиркнул спичкой и глянул на часы. Было только начало двенадцатого. Он удивился. Ему казалось, что уже за полночь и вскоре на востоке забрезжит заря. Как медленно, оказывается, ползло время.

На шоссе, далеко отсюда, изредка мелькали фары автомашин. Все шли к городу. Он стал считать. Одна... две... три... четыре... пять... И вдруг он даже не поверил своим глазам: в обратном направлении, из города, шли две машины. Шли на полной скорости и гудели. И вдруг исчезли. М-да. Опять появились из-за поворота...

Он раздвинул кусты и устремил взгляд на приближавшиеся огни.

— Сюда едут... Интересно, кто бы это мог быть? Наверное, какие-нибудь кутилы, старик может разнервничаться. Лучше встретить их у ворот и запретить им шуметь. А там и Михako появится...

Он пересек двор и только собирался отодвинуть засов, как на полной скорости подкатили к воротам машины.

— Зураб, это ты?! — послышался радостный женский голос.

Фары слепили глаза. От этой пахнувшей тонкими духами девушки захватывало дух. Она стояла спиной к машине, и Зураб видел ее стройные ноги в белых брюках, золотистые локоны, рассыпавшиеся по плечам. Он и узнавал и не узнавал ее.

— Ты не узнаешь меня? — девушка подошла и глянула ему в глаза. — Я Майя!

— Майя?!

...В студенческие годы он долго безуспешно ухаживал за этой девушкой. Следовал за ней тенью, писал стихи.

— Какими судьбами?

— Сегодня день моего рождения. У меня был маленький ужин... Но ты, конечно, не помнишь этот день!

...Откуда же помнить!.. Она никогда не приглашала его! Все девушки с факультета английского языка смеялись над его любовью, насмешливо называли его «зятем», Майя же и говорить с ним не желала.

— Привет, Зураб! — за рулем сидел парень с пышной шевелюрой, с тонкими губами и вкрадчивым голосом.

— А, Дуро!

В Кутаиси Дуро Тевзадзе был известен как сын комбинатора, у него были собственная «Волга» и два институтских диплома. Зураб никак не мог вспомнить, где работает Дуро, зато хорошо знал, что он — заводила всех кутежей и любитель красивых женщин.

На полную мощь включенное радио гремело «Последнее танго».

— Ты вступишь нас? — спросила Майя.

— Пожалуйста! — пригласил он девушку, ни на миг не задумываясь над тем, зачем они пожаловали сюда в столь неурочное время.

За Майей последовала подружка, стройная девушка в красных брюках, с огромными, как у цыганки, кольцами в ушах. Прошла рядом с Зурабом, прикоснулась рукой к плечу и улыбнулась: — «Зурабчик!»

Ее он узнал сразу. Из машины вылезла, вернее выкатилась, и третья девушка. Низенькая и толстая, она не имела ни талии, ни шеи и напоминала диванный валик, перетянутый бечевкой. Видимо, сердясь на кого-то, с ворчаньем прошла мимо Зураба.

Вслед за толстушкой из машины вылезли два худощавых парня с длиннющими волосами и в расклеванных брюках. Зураб знал обоих. Один — Авто Ме-

Лейла Мехи. Ночь в храме.

набде, единственный отпрыск известного хирурга. Еще в студенческие годы однокурсницы Зураба уверяли, что он играет на шести инструментах, и добавляли, что учится он на третьем курсе консерватории. А вот закончил он ее или нет, Зураб не знал. Закадычный другок Авто — Тенгиз Амаглобели, всегда одетый с иголочки, словно манекен из магазина готового платья, Тенгиз сыграл пару незначительных ролей в кино, и теперь у него отбоя нет от поклонниц — школьницы за ним носятся стайками.

Последними из машины вылезли парень и девушка. У парня заплетались ноги. Видимо, хватил лишнего. Зураб, не поинтересовавшись, кто они, догнал прошедших вперед.

— «До сих пор никогда не рождалась такая спокойная луна...» — прозвучал тихий, проникновенный голос Майи.

Лунная ночь, стихи любимого поэта, парни и девушки на церковном дворе, их смех — все было каким-то чуждым и необычным.

Вдруг кто-то схватил его за руку.

— Мы привезли свечи! — Это была Майя.

Она больше ничего не добавила, но и этих слов было достаточно Зурабу, чтобы понять ее желание. Он нащупал в кармане ключ и направился ко входу в храм. Гости двинулись следом.

Сырой воздух разом ударил в лицо. Все сгрудилось у порога, не решаясь войти внутрь. Зураб чиркнул спичкой, вошел в храм, за ним с зажженными свечами на цыпочках шли остальные. В храме постепенно становилось светлей. Пламя свечей трепетало, озаряя стены желтовато-пепельным цветом. Древние фрески удивленно смотрели со стен. Удлиненные тени, словно неприкаянные души, мельтешили кругом, глухо раздавались шаги на каменных плитах. Некоторое время тени прыгали по сторонам, потом сгрудились вместе.

— Господи, помилуй! Господи... — дурачась, начал Дуро.

Звонко засмеялись девушки.

Дуро стал бить поклоны и креститься.

— Хватит, Дуро! Я больше не могу... — девушка с серьгами, задыхаясь от смеха, тянула его за руку.

— Прости нас, грешных... — продолжал Дуро.

Вдруг от их группы отделилась Майя и направилась в глубь храма. Приблизившись к алтарю, остановилась, поправила рассыпавшиеся волосы, высоко подняла горящую свечу и...

«Богородица, Солнце-Мария!

Словно роза во влажном песке...»

Ее трепетный голос сначала глухо звучал под сводами, потом постепенно окреп, стал более мелодичным, более звучным и бархатистым.

«...Усталой женщиной к иконам паду».

Это было сказочно и неповторимо. По крайней мере так казалось Зурабу. Невыразимое блаженство охватило все его существо. Он понял, что Майя по-прежнему нравится ему. Он был готов исполнить любое ее желание, любой каприз...

Захотелось сделать нечто такое, что придало бы ему в глазах девушки большую ценность. Захотелось вызвать удивление и восторг гостей, захотелось рассказать о величавой красоте гелатской мозаики, сказать, что автор ее нарушил художественные традиции византийского искусства и внес динамичность и жизнь в центральную композицию жертвенного апсида. И много чего еще...

Но то ли на счастье, то ли на беду, пока Зураб разбирался в обуревавших его думах, выскочила вперед толстушка, напоминавшая диванный валик, и загнусавила:

«Солнце июньское, солнце июньское,

В истовой молитве к Граалю зываю!

Та, кого любил я...»

Но бедняжке не дали досказать. Раздался громовой хохот.

— Ой, умру, вот это да... — чуть не всхлипывал Тенгиз Амаглобели.

У девушки были большие сверкающие глаза, чистый и простодушный взгляд. Она была не их поля ягодкой. Видимо, ее просто захватили сюда с собой.

Девушка сгорала от стыда, плечи ее вздрагивали, она озиралась, словно искала помощи. Когда ее умоляющий взгляд упал на Дуро Тевзадзе, тот закурил си-

Лейла Месхи. Ночь в храме.

гарету, глубоко затянулся раз, другой, обернулся и безмятежно выдохнул дым прямо на фрески.

Что-то больно кольнуло Зураба, он даже не понял, что, тут были и заплаканные глаза девушки, и окутанные сигаретным дымом и тоже в слезах, но от смеха, лица остальных.

Он медленно обвел их взглядом. Запомнил каждое лицо... И вдруг странное ощущение охватило его — показалось, что их приглушенное хихиканье относилось не только к той толстушке, но и к нему — младшему научному сотруднику краеведческого музея, гелатскому экскурсоводу Зурабу Дарахвелидзе. Смеялись над его монашеской жизнью при храме, а еще...

На миг его словно осенило...

Он вдруг почувствовал себя монахом, ходящим из села в село. А смех под сводами храма показался ему проделками ряженых. И словно к груди его приставили деревянные вилы, крутят перед носом овечьими и медвежьими шкурами, тычут в лицо оскаленные волчьи клыки. Они пляшут, беснуются, воют. Сзади к нему подкрался медведь, стоящий на задних лапах, положил ему на плечи лапы. Но он монах и нет у него меча. А в суме только хлеб для дальней дороги.

Зураб вдруг оглянулся.

Рядом таращила заплаканные глаза толстушка... И эти глаза отрезвили его.

Со стен хлынул табун Давида Строителя, мчались красные и синие кони, и стук их копыт заглушил все вокруг.

Но вот умолкло ржание и пофыркиванье коней, и в оконные проемы храма ворвались дивные звуки — совсем рядом, в сохастерии — Гелатском женском монастыре, пел хор монахинь. Их голоса несли материнское тепло и благоухание.

Зураб оцепенел.

Когда смолкло пение и топот ошалевшего табуна, когда прекратился хохот ряженых и на нем уже не было монашеской рясы, он ощутил, что с их исчезновением исчезает и в нем самом та непонятная стыдливость и нерешительность, которая одолевала его при встрече лицом к лицу с этой обладающей «высоким интеллектом» молодежью.

Теперь он чувствовал перед собой противника, все сильные и слабые стороны которого он знал отлично. Сейчас он был не неискушенным в жизни юнцом, Зурабом Дарахвелидзе, а другим... Может, Ионой, а может, и Михако, спящим чутким заячьим сном. А может, был он грузинским воином, в боевой кольчуге, со шрамами, полученными в боях с неверными, был тем, кто на плечах своих принес из Дербента врата гробницы и возложил их на грудь своему обожаемому государю...

На миг взгляд его выхватил парня и девушку, прячущихся во мраке у входа в храм. Парень был пьян. Девушка в красных брюках и огромном пестром пончо держала в руках свечу. Парень пытался обнять ее, но она, тыча ему в лицо зажженной свечой, отбивалась. Он обхватил ее за талию и все старался задуть свечу. Девушка поднималась на цыпочки, высоко поднимая свечу и ладонью прикрывая ее пламя. Наконец она приблизилась к стене, увлекая его за собой, поднялась на цыпочки и высоко — Зураб хорошо и не разобрал, к какой фреске, кажется, к образам имеретинской царской четы — прилепила свою свечу. Тонкий язычок пламени колыхался, коптил фреску.

Это было последней каплей. Уже ничего не думая, не разбирая, Зураб резко оттолкнул от стены девушку с большими кольцами в ушах, снял прилепленную свечу, одним рывком выхватил свечу у Майи и выбросил свечу во двор.

В сочной траве там и сям заколыхались и погасли язычки пламени.

Стоя на пороге, напрягшись и весь дрожа от волнения, Зураб молчал, но только каждая клетка его тела наполнилась чудными ритмами.

— Что-о?! — толком не поняв, что произошло, взревел Дуро Тевзадзе. — Подойди, сынок, сюда! — подозвал он Зураба.

— Дуро, не надо! — это был голос Авто Менабде.

— А ну, пустите меня! — это уже Тенгиз Амаглобели.

Потом Зураб уже и не помнил, кто что сказал, кто кого обидел, почему успокаивала его Майя и по-

чему ярился Дуро — сын комбинатора, у которого в кармане лежала «финка». Он не пожалел новехонький костюм Тенгиза Амаглобели, схватил его за лацканы пиджака, рванул к себе и, почувствовав на лице длинные нервные пальцы Авто Менабде, сшиб их обоих лбами и обоих вышвырнул наружу.

Тонко закричали девушки. Их голоса зхом отдались под сводами храма. Потом к этим голосам добавился рокочущий бас:

— Что здесь происходит?

Это был Михако.

Зураб изо всей силы двинул по тонким губам Дуро Тевзадзе.

Вдруг он ощутил укол. Слабенький, еле-еле... Потом укол перешел в боль — невыносимую, убийственную боль. Он толком не понял, что это такое... И почему вдруг бросили его все. Почему пошли крадучись, бесшумно, с вобранными в плечи головами, лишенные былого лоска и напуганные.

А потом он вообще перестал понимать, что за шум за оградой и чего бушует Михако.

«Как бы Иона не услышал...» — только подумал он.

Дрожащими руками, медленно, с превеликим трудом прикрыл он тяжелые двери храма и вышел.

Боль все усиливалась. Он сел, прислонился спиной к стене храма. Камень был теплый, все еще не остыл от осеннего солнца.

Он так и не понял, когда примчалась Назиброла со своими детьми, и почему она вся дрожала и так колыбалась ее теплая, как у матери, грудь.

В глазах у мальчишек стояли слезы и страх.

А света становилось все больше и больше у церковных дверей.

Небо было такое звездное, такое сияющее....

Он чувствовал, как посеребренные лунными лучами купола храма становятся частицей его плоти и крови...



СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ МАРИ БРОССЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Путешествие по Грузии

I

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

ИДЕЯ путешествия по Грузии настолько выношена Мари Броссе, что порою ему кажется, будто отдельные отрезки пути он уже проделал. 18 июня 1848 года он читает на заседании Академии свой «Проект предстоящего литературного путешествия по Грузии», в котором научные цели его поездки окончательно выкристаллизовались. Он учитывает опыт своих европейских предшественников и то, чем они преимущественно пополнили наше представление о стране. В XII веке Ламберти и Галанус составили частичное описание Грузии; для венецианца Контарини Грузия попросту лежала на пути его следования в Россию; в противоположном направлении, с севера на юг, пересек Грузию Шарден, направляясь в Персию; Турнефора интересовал растительный мир; Пьетро делла Валле путешествовал для своего удовольствия; Гюльденштедт и Клапрот сделали этнографические наблюдения; французского консула Гамбу интересовали, естественно, политика и торговля; каждый в призме своей науки рассматривали Грузию естественный исследователь и археолог Эйхвальд, ботаник и географ Кох, филолог Розен. С особым вниманием читал Мари Броссе пространное описание путешествия швейцарца Дюбуа де Монпере, своего непосредственного предшественника и знакомого.

Продолжение. Начало см. «Литературную Грузию» №№ 1, 2 за 1983 год.

В отличие от них Мари Броссе намерен сочетать в своих наблюдениях практическое знание грузинского языка с теоретическим обобщением. Вот уже более двух десятилетий, как он изучает Грузию в широком спектре языка, литературы, этнографии и истории. Систематическое ознакомление с опытом, накопленным наукой, привело ученого к убеждению о необходимости приступить к качественно новому изучению Грузии, не говорит уже о том, что страна эта являлась для Броссе конечной целью его поездки, а не краем, куда заглядывают проездом. К тому же среди европейских посетителей Кавказа Мари Броссе был первым, кто понимал грузинский язык и изъяснялся на нем.

Научная экспедиция была связана для Академии с расходами. По опыту общения с русскими властями Броссе знал, однако, что финансы представляли собой лишь один аспект проблемы и что в расчет следовало принимать и глухое сопротивление бюрократического аппарата и гонимой полиции, соображения которых не всегда поддавались разумному объяснению. Мари Броссе испытал на себе, что значило в России предубеждение к путешествующему иностранцу. Разумеется, сравнительно со временем двух неудачных попыток теперь научный и общественный статус Броссе существенно изменился: он является членом Российской Академии. И все же, дипломатично не договаривая всего, ему приходится порой доказывать очевидное:

«Все люди, из склонности или по долгу своему преданные изучению языков и классической древности как Европы, так и Азии, знают, а некоторые из наших коллег обладают и соответствующим опытом, насколько может быть полезным для чисто литературных трудов материальное и техническое знание тех краев, которые они изучают: к примеру, эллинист лучше поймет Плавания после того как собственными глазами увидит Грецию; а мне часто доводилось наблюдать, как один из наших замечательных востоковедов обращался за консультацией к оставшимся в живых членам бывшего Египетского Института и получал от них ясные и положительные сведения о словах и речевых оборотах, тогда как словари предоставляли ему лишь научное их значение. Нужно ли мне называть Геродота и Страбона, как можно дольше разъезжавших по странам, которых они касались в своих рассказах и описаниях, а в более близкое нам время — знаменитого автора «Истории консульства и империи», взявшего на себя посещение краев и полей сражения, ставших свидетелями успехов и неудач его героя».



Несмотря на повседневные разыскания в избранной им области знания, Мари Броссе находил время и энергию для того, чтобы следить за основными явлениями гуманитарных наук также за пределами своих непосредственных интересов. Соотнося между собой всплывающие под его пером имена авторов и названия произведений, упоминания лиц и событий, можно составить себе представление о широте эрудиции ученого, служащей надежным фундаментом для возводившегося им здания грузиноведения. Эллинский мир с Гомером, Геродотом и Страбонам служит ему при этом и высшим критерием, и точкой отсчета. Ссылка на двух греческих ученых тем естественнее, что в их сочинениях содержится древнейшие упоминания Колхиды. Что до «Истории консульства и империи» Тьера, то она печаталась в 1845—1862 годах. Ко времени составления «Проекта путешествия» петербургского ученого в Париже появилось лишь начало труда Тьера. Этот штрих характерен для Броссе: от «отца истории» Геродота до последней новинки исторической науки он все держал в своем поле зрения. И еще: он не переставал осознавать себя как частицу французских школ историографии и востоковедения. Для осмысления места Грузии в контексте мировой истории существенно соображение Мари Броссе о «классической древности» и Европы, и Востока. Рассматривая в одной плоскости культурное наследие обоих регионов, он тем самым ратует за равномерное их освещение и за пропорциональное распределение к ним внимания.

В намерения Броссе входит способствовать возведению изучения Грузии в высокий ранг авторитетных исторических сочинений: «Занимаясь теми же разысканиями, что и знаменитые люди, на авторитет которых я ссылаюсь, и не льстя себя надеждой, что смогу сравняться с ними в пронизательности, в таланте, эрудиции, я тем живее ощущаю то, чего недостает моим познаниям; поэтому, с самого начала моих грузинских штудий, я непрестанно обращал свои взоры в сторону Грузии».

Мари Броссе вкратце напоминает академиком о двух неудавшихся попытках совершить поездку в Грузию, «несмотря на добрую волю французского правительства». Однако ничто не могло заставить ученого отказаться от своего заветного замысла, «в течение стольких лет вынашивавшегося в глубине сердца».

Теперь Мари Броссе заручился согласием на эту поездку президента Академии Уварова и наместника на Кавказе графа Воронцова. Настоятельная необходимость совершить путешествие

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.



подкрепляется еще одним существенным соображением: Броссе начал колоссальный труд по сведению воедино цикла грузинских летописей «Картлис цховареба» и по переводу их на французский язык. Для того чтобы лучше понять тексты, ему необходимо *visu proprio*, собственными глазами увидеть страну, чего не могут заменить «кабинетные занятия». Тем более что Грузия «доступна и ее легко пересечь по большим и прекрасным дорогам, осмотреть, заручившись простой рекомендацией верховной власти: непростительным было бы издателю грузинского исторического сочинения отступить перед мелкими препятствиями или, по меньшей мере, не привлечь к этому вопросу внимание правительства, всегда готового способствовать полезным начинаниям».

Очертания задачи рисуются Мари Броссе со всей отчетливостью: «Цель путешествия — приобрести как можно более положительных сведений об этнографии, языках, древностях и литературе народов, проживающих в Грузии и в непосредственном ее окружении; а также проверить, с историей в руках, географическую точность рассказов, точность описаний и карт Вахушти...»

Однажды мысленно проделав с грузинским историком и географом путешествие по его стране, Мари Броссе сейчас возьмет Вахушти Багратиони в свои верные проводники по Грузии.

Задачи, которые ставит перед собой Броссе, не могут не поражать своей широтой. Он намерен «филологически рассмотреть грузинский диалект, используемый в Кахетии, с тем чтобы определить, отличается ли он существенным образом от языка-матери или же представляет собой лишь местные варианты».

Мари Броссе хочет сделать наблюдения над абхазским языком, для которого, «возможно, на месте удалось бы собрать элементы небольшой грамматики и более или менее полного словаря».

В Ахалцихском пашалыке, по наблюдению ученого, «сохранился чистый грузинский язык, но заимствовавший у турецкого большое количество слов. Следовало бы, однако, посмотреть, не подверглась ли употребляющаяся там речь таким изменениям, которые презратили ее в наречие, и остались ли там в неприкосновенности грузинские национальные черты».

Намерен Мари Броссе съездить и в Армению: «один только монастырь Эчмиадзин представит материал для сбора богатого урожая, если суровость монастырских правил не воздвигнет препятствий для осмотра монастыря и его древностей». Знакомство с Арменией должно помочь ученому лучше понять отдель-

ные страницы истории Грузии. В Эчмиадзине, в частности, Броссе надеется пополнить свои сведения о кодексе законов грузинского царя Вахтанга VI.

«После хартий и законов, — размышляет Мари Броссе, — древности каждой страны являются важнейшим для изучения объектом».

Говоря о себе в третьем лице, Броссе намечает свой образ действия: «В каждом краю, который он посетит, путешественник начнет, прежде всего, с больших поселений, откуда он будет выезжать в такие пределы и в таких направлениях, которые невозможно ни предусмотреть, ни определить заранее».

Особое внимание ученый уделяет письменным свидетельствам древности: «Что до надписей, подлежащих собиранию, те, которые находятся на памятниках, воздвигнутых царями, князьями, сенсорами, высокопоставленными церковными или гражданскими лицами; те, которые сделаны на надгробиях, в особенности же — на древних развалинах, следует переписать тщательно и, хотя бы частично, теми же буквами, какими они написаны».

Мари Броссе готовится рассмотреть изображения святых, монеты и произведения искусства. Причем путешественник надеется собрать обильный урожай наблюдений в местах, удаленных от Тифлиса и в свое время менее подверженных вражеским нашествиям. На местах предстоит выявить неизвестные рукописи, древние произведения литературы, которые ждут своего часа, чтобы предстать перед потомством.

Путешественник предвкушает радость открытия древних грузинских церковных легенд, летописей, гуджаров, или грамот. Ведь ему известно, что «каждая дворянская семья имела и старательно хранила документы такого рода; можно надеяться отыскать многие из них в руках частных лиц, но пожелают ли они показывать их, зависит от степени доверия и от доброй воли владельцев». Так что ученому путешественнику придется убеждать их, взывая к патристическому чувству грузин и ссылаясь на ценность этих документов для воссоздания истории их родины. Перед гостем открывают свои сокровища библиотеки — публичные и частные.

И, наконец, Мари Броссе намеревается слушать людей: «вне зависимости от написанных книг, следует также с вниманием относиться к рассказам, передающимся по традиции, таким как народные песни и легенды. Какими бы причудливыми, странными, фантастическими ни казались зачастую эти традиционные повест-

вованья, в них всегда отыщется доля исторической истины или, по меньшей мере, картина нравов, которая может послужить для восстановления того, чего недостает повествованию историков. То немногое, что нам известно на этот счет, доказывает, что либо у народностей, образующих географический пояс Грузии, либо в самой Грузии удастся собрать обильный урожай материалов такого рода».

Ученый задумывается. Ему представляется, что он ничего не упустил из виду. Сознательных ограничений он не делает никаких. Он открыт притоку сведений отовсюду и настроен на чуткое улавливание всего, что может пополнить подлинное знание Грузии.

Наконец поездке Мари Броссе в Грузию суждено осуществиться. Из Санкт-Петербурга он отправится 1 августа 1847 года. Но предстоящей радости примешивается горечь: «Если бы мое желание осуществилось в 1830 году, — размышляет он, — когда я был моложе на двадцать лет и свободен от всех уз и семейных обязанностей, я менее поспешил бы не на свои труды, но на те дни, которые сейчас мне уже нужно начать считать, и с удовольствием посвятил бы четыре года, согласно моему первоначальному проекту, исследованию богатых древностей Грузии».

Округляя цифру семнадцать, Мари Броссе думает о той сумме напряженного труда, которая стоит за прожитыми годами. Но ученый далек от того, чтобы считать свою миссию выполненной. По мере продвижения вперед в грузиноведческих штудиях становилось очевиднее, что всего не объять. Это ощущение наполняло его существо радостью. Радостью за Грузию, за ее богатое существование в веках; за свою скромную причастность к тому, что на эти богатства ляжет свет знания.

Трезво оценивая свои силы, Мари Броссе хочет экономно использовать остаток дней для дел самых важных. И еще: в лоне науки он чувствует себя лишь одним из солидарной когорты искателей. Поэтому, возвращаясь к прерванному ходу мысли, думая о не в полную меру осуществившейся мечте, он без пустой жалости к себе добавляет: «Другие будут счастливей».

О посещениях расположенных недалеко от Тифлиса достопримечательностей Коджори, Тэтри Цкаро (Белого Ключа), Мцхета и Шно-Мгвиме рассказано во второй главе — «Лучеобразные выезды».

О поездке в Кахетию повествует третья глава, фрагмент из которой печатается ниже. По дороге от Алаверди до поселка Ожно Мари Броссе встретил погребальный конвой князя Андроникова, убитого в стычке с лезгинцами. Броссе принял участие в траурной



церемонии, на которой познакомился с князем Давидом Эристави и его сыном Рафиэлом, в будущем — известным писателем.

III

ВОКРУГ ТЕЛАВИ, ГОРОДА ЛИП

КНЯЗЬ Давид сделал приятное предложение: — Не желаете ли, господин Броссе, после траурной церемонии отправиться ко мне в село Кистаури? Я покажу вам тушищев в Алванской долине, развалины своих владений, книги и, наконец, постараюсь способствовать вашим разысканиям чем только смогу.

Мари Броссе поспешил с благодарностью принять столь любезное приглашение.

Тем временем множество людей собралось во дворе крепости: то были горцы, съехавшиеся из окрестных деревень отдать последние почести уважаемому предаодителю. Слезы у них на глазах служили для покойного наилучшей похвалой. Конь князя, покрытый черной попоной, держался позади толпы и, казалось, разделял общую скорбь. После нескольких тактов траурной музыки, когда священник прочитал молитву, именуемую «Андэрдзи» («Завещание»), мать князя, рыдая, села возле гроба сына, на краю могилы. Рядом с нею молодая и красивая женщина, издавая душераздирающие крики, царапала себе лицо, била себя в грудь, рвала волосы: то была супруга. Она прильнула к гробу, покрывала его поцелуями, орошала слезами и с трудом уступала усилиям служанок, своих юных детей, заплаканных деверей, пытавшихся отвести ее в сторону. Казалось, что она хочет умереть вместе с покойным, чтобы его могила поглотила и ее.

«В момент опускания тела, — вспоминает Броссе, — Рафаэл Эристов, сын князя Давида, прочитал в честь покойного речь по-грузински. Этот молодой человек, получивший солидное образование в Тифлисской семинарии, уже отличился хорошими статьями, помещенными в газете «Кавказ».

Когда мы опустили тело в его последнюю обитель (я имел честь принять участие в отдаче последнего долга), собрались у княгини для торжественной трапезы, не менее серьезной, не менее сдержанной, чем давешний ужин».

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.



Пополудни Мари Броссе отправился в Кистаури, ^{дворец} двенадцати верстах от Матани, неподалеку от Адамета. «В лесах, которые пересекала дорога, (путники) беспрестанно находили «кирцину», сорт дикого винограда, и «кванчи», довольно крупные сливы; эти фрукты очень сочные, но неблагоприятно было бы злоупотреблять ими, так как ничто так не способно, как они, вызвать лихорадку».

По дороге в Кистаури Мари Броссе расспрашивал князя Рафизла — которого он называл «Рафанлон» — о направлении тех рек, которые они пересекли, и поскольку при сверке с картой Казетин в ней они обнаружили пробелы и неточности, князь карандашом начертил для ученого собственную небольшую карту.

Не забывая о том, что одной из основных целей (его) путешествия было собирать этнографические и филологические сведения относительно народов Кавказа, Мари Броссе воспользовался случаем, чтобы по пути осмотреть поселения тушинцев в долине Алазани, куда он и отправился в воскресенье, 21 сентября.

По дороге путешественник любуется травянистыми пастбищами и зимними поселениями горцев. Наслышанный о религиозных празднествах тушинцев, он сожалеет о том, что ни на одном из них не удастся побывать.

Мари Броссе посещает красивую церковь Самеба (Троицы) и кладбище. На возвышенности он осматривает здание, известное под названием Санагаро, «место, откуда трубят», и рядом с ним — церковь Иоанна Крестителя, просторную и красивую, покрытую росписями и греческими текстами, извлеченными из писаний святых отцов. Рафизл Эрнстани помогает Броссе списать последние.

Путешественник с болью в сердце убеждается в том, как хрупко существование наследия прошлого: «Все святые повреждены кинжалами лезгин». Так что Рафизл Эрнстани держал саблю наготове и отставлял ее «лишь для того, чтобы взять в руки карандаш и переписать несколько греческих слов». Скольким опасностям подвергались церкви, замки на протяжении веков? Не чудо ли, что некоторые из них уцелели?

Осмотрев памятники, вернулись в поселок, расположенный на берегу Алазани. Путешественников принял нацвали по имени Пунша. Броссе запомнилась первая тушинка, увиденная «с близкого расстояния». На ней были «читаби», или обувка из грубой шерсти, художественно связанная и очень прочная; «цянда», или носки, тоже из шерсти, но более тонкой и тщательнее обработанной; «джуба», или черная юбка; «гулис-пири» — часть одежды,



скромно прикрывающая живот и украшенная серебряными лунами; черная вуаль. «Все женщины, которых я видел, обобщает Мари Броссе, — были одеты таким же образом и держались крайне сдержанно; мне с величайшей похвалой говорили об их разумном поведении».

Принесли скромный завтрак. Перед тем как приступить к еде, лицу освятил нацвали, почтенный старец с тонкой и недоверчивой физиономией, исполняющий, как это здесь принято, обязанности деканоза, или домашнего священника.

Во время визита к Пунше Мари Броссе познакомился с молодым тушинцем, Иосифом Цискаришвили, который хорошо говорил по-русски и проходил полный курс обучения в Тифлисской семинарии. Ему сообщили о том, что гость желал бы его видеть, и он пришел во время завтрака и занял место на ковре. Пораженный его мрачным видом и пристальным взглядом, Броссе узнал от других, что молодой человек был удручен потерей близкого родственника, убитого лезгинами вместе с князем Андрониковым. «Из уважения к столь глубокой и священной боли, — говорит Броссе, — я ограничил свои вопросы и назначил встречу в Тифлисе этому несчастному, который пообещал сделать все, от него зависящее, чтобы служить мне. Он с лихвой сдержал свое слово...»

22 сентября отправились осматривать крепость Бочорма, которая находилась во владениях князя Давида и слыла самой высокой точкой в крае. В течение четырех часов шли через девственный лес, без протоптанной дороги, где проводники, казалось, чутьем угадывали путь. «Нет ничего столь прекрасного и столь грустного, как вид этого леса, — думает Мари Броссе. — Растительность здесь великолепна, но деревья душат одно другое. Земля покрыта паразитическими растениями, высокими и густыми, с широкими листьями. Под ними — нездоровая сырость, откуда вырываются запахи гниения. Друг на друга громоздятся большие деревья, сломанные грозой и гниющие на корню. При падении они сломали кроны соседних деревьев, которые ожидают та же участь. Иные деревья ужасно покалечены человеческой рукой без видимой цели. Другие опрокинуты оземь, где их «трупы» веками разлагаются. Ничто не свидетельствует о находчивой, предприимчивой человеческой руке, всюду видны следы разрушительного действия стихий. Так что леса, в других местах столь полезные и поглощающие вредные газы, здесь гибнут, не



принося пользу человеку, во вред общественному здоровью, в одной из самых жизнерадостных долин мирах.

Примерно на полпути попутчики обратили внимание Мари Броссе на липу чудесных размеров, предположительно имеющую двадцать сажень в высоту, росшую в глубине долины и господствовавшую над окрестностью. Макушка липы обломалась, когда некий пшав вскарабкался на самый ее верх, желая завладеть сотами.

Путники остановились неподалеку от пострадавшего дерева, чтобы передохнуть, прежде чем начать спускаться по крутым склонам горы, по ужасным, опасным дорогам, на которых торчали камни и корни, ранившие неподкованные ноги лошадей. Наука — наукой, а нравы — нравами: небольшой отряд был вооружен тремя ружьями, двумя пистолетами и семью кинжалами. Все это придавало особую остроту восприятию архитектурных памятников и прочих достопримечательностей страны. Князь Давид Эристави вынужден был спешиться со своего мула и, несмотря на свой возраст, ловко пробирался сквозь чащу. Когда неподалеку от отряда появился волк, он выстрелил в него, но выстрел затерялся в необъятности леса, пробуждая в его глубине мирное раскатистое эхо. Броссе объяснили, что такая предусмотрительность позволяет держать на почтительном расстоянии опасных гостей. Свинопасы, единственные человеческие существа, которых встречаешь время от времени, вооружены и никогда не ходят в одиночку, но всегда — по двое.

На опушке леса, посреди глубокой долины, орошаемой Иори, показалась Бочорма. Хотя места эти посещают любознательные люди и небожные паломники, тропинки, ведущие к ним, едва различимы. Нужно знать местность и различать природные знаки, такие как большие деревья, крупные камни, источники и прочие «указатели», внешний вид которых остается неизменным. В непосредственной близости от крепости наконец обнаруживаешь дорогу, некогда проложенную здесь, но нынче поросшую травой и размытую дождями. Камни, срываясь из-под ног, с продолжительным грохотом скатываются в пропасть. Сквозь просеки видно, как большие орлы величественно парят над зеленеющими вершинами гор. Мари Броссе наслаждается этой великолепной картиной.

В огражденное крепостной стеной пространство проникаешь через каменную дверь: в пятидесяти шагах отсюда находится башня. Справа расположена небольшая церковь Святого Георгия. Выложенный из тесаного камня, ее корпус завершается куполом. У входа князю Рафизлу Эристави и Мари Броссе удалось прочи-

тять плохо выделяющуюся на сероватом фоне надписи: «Святой Георгий, помни в обаях жизнях о твоём слугителе Акопе». Возможно, думает Броссе, это — имя архитектора, возведшего или обновившего церковь.

Мари Броссе по привычке подробно осмотрел церковь, расположенную поблизости крепость, с научной добросовестностью записал и запомнил надписи — и исторические, и просто любопытные: «Еще... 1822, я был здесь, подпрапорщик Пеншук, может последний раз».

Тем временем спускались сумерки и проводники торопили путников с отъездом, так как горный хребет Гомборн пользовался мрачной репутацией. Князь Давид Эристави решил провести отряд более коротким путем в одну из своих деревень, где предлагал переночевать. Покинув протоптанную и уже знакомую тропинку, путники направились прямо между деревьев. Лошадь приходилось проводить по верху повалившихся стволов, протаскивать ее через обвалы крупных камней; соскальзывать по крутым склонам, обходить топи жирной грязи — иногда ненароком проваливаясь в нее, преодолевать сходные препятствия и среди всего этого оберегать лицо и руки от колючек и прогибающихся веток и в поздний час выслушивать рассказы, от которых волосы становятся дыбом, о неожиданных набегах и о жестокости горцев.

— Вам не страшно? — обратился к Мари Броссе один из проводников.

— А чего же я должен бояться?

— Ночи, лезгин. Вы ведь безоружны.

— А ты? — ответил Броссе.

— У меня есть кинжал и ружье, я привычен к подобного рода переделкам. Но вы, почему вы таким образом подвергаете себя опасности?

— Почему? Дорогой мой, для того чтобы посмотреть прекрасные вещи, оставшиеся от прошлых времен, и передать другим то, что я видел. К тому же вас здесь пятеро, чтобы защитить меня, и я доверяюсь вашей ловкости, вашей храбрости.

Целые и невредимые, путники наконец добрались до пшавской деревни, расположенной на опушке леса. Стояла темная ночь. После нескольких минут ожидания появился хозяин, схватился за голову обаями руками и сказал пришедшим с неподражаемым добродушием на чистом грузинском языке:

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.

— Имз! Имз! Такой благородный человек пришел ко мне, а мне не доведется принять его в моем доме из-за того, что в нем завелись блохи! Но как же мне их прогнать?! 24703030

Путники расположились в небольшой плетеной хижине, доступной дождю и открытой ветрам. Хижину кое-как накрыли коврами. Огарок свечи, который несколько раз гас, помог путникам дожидаться прихода сна. Не особенно церемонясь, князь Давид улегся спать среди стогов пшеницы, где на следующий день и обнаружил его Мари Броссе: князь спал глубоким сном.

Утром возле огромного костра под открытым небом гостеприимный хозяин на виду у гостей зарезал, распотрошил и зажарил нежного поросенка, который был съеден за завтраком, орошенный кахетинским вином.

Мари Броссе простился с князем Давидом Эрстави и в сопровождении его сына Рафизла вместе со своими спутниками отправился в сторону Тианети.

Шли напрямик, шесть раз пересекли обмелевшую Иори и речку Кусно, о существовании которой забыл Вахушти. Небольшой отдых устроили в деревне Орхеви.

В шесть часов вечера путешественников принял г-н Зиссерман, секретарь покойного князя Михаила Чолокашвили, который прекрасно говорил по-грузински, со всем набором цветистых выражений, особенно ублажавших слух Мари Броссе. Удовольствие доставляло смотреть на него, когда он, стоя наверху лестницы, принимал срочные просьбы подопечных без помощи переводчика, выслушивал их жалобы, разрешал спорные вопросы на восточный лад, без фраз, без официальных бумажек.

Правление уезда помещается на правом берегу Иори, за обшарпанной крепостной стеной, защищающей деревню. Именно в здешней канцелярии служит князь Рафизл. В реке водится превосходная форель, особенно ценная в Грузии. Послали рыбаков выловить несколько рыб к ужину, который оказался приятным грузинским кутежом, то есть превеселой трапезой, украшенной шутками и добрым вином, где никто не выходит за рамки приличия и умеренности.

Рассматривая помещение правления уезда снаружи, пораженный Мари Броссе обнаружил над дверью с дюжину отсеченных кистей рук, более или менее давно пригвожденных к стене. То оказались руки убитых в стычке лезгин, отсеченные по пшавскому обычаю. Мари Броссе рассказали о том, как однажды ночью семеро лезгин напали на такое же количество пшавских пастухов, пасших стада. Четверым из пастухов удалось спастись, трое же были захвачены в плен и уведены разбойниками. Им

сохранили жизнь лишь благодаря обещанному богатому выкупу.

Тем временем спасшиеся пастухи взбудоражили деревню. Каждый вооружается, собирается сильный отряд. Один пшав, опередив других, настигает лезгин, не дожидаясь подкрепления, убивает троих из них и сам оказывается ранен. Лезгины убегают, бросив пленников и унеся своих мертвецов, за исключением одного, у которого пшав отсек правую руку, чтобы привезти ее в правление. Храбреца представили к медали. Однако подобные происшествия, как сказали Мари Броссе, становятся все более редкими, и если было время, когда волна нападений нарастала, то это следует приписать волнению, поднятому в Дагестане «г-ном Шамилем».

Когда Мари Броссе поделился с Зиссерманом своим желанием посетить горы Тушетии, тот ответил:

— Я хорошо знаю эти места и готов провести вас туда, куда сам ходил трижды. Однако, не говоря о трудностях пути, об узких тропинках, вьющихся вдоль пропастей, об опасных прыжках, которые приходится часто совершать, о неизбежной опасности быть замурованным снегами — причем, быть может, надолго — уверяю вас, вы не будете вознаграждены за принесенные вами жертвы.

— Позвольте, а прекрасные церкви Лашас-Джуари и Тамарис-Джуари, предметы поклонения тушинцев?

— Эти церкви существуют лишь на бумаге, при помощи условных знаков, да еще в воображении людей, которые не видели тех мест. Это попросту крепостные ограды, сложенные из камней, посреди которых возвышается грубый алтарь, камень для жертвоприношений. Здесь в определенные дни светский человек, облаченный титулом деканоза, закалывает жертвенного барашка или козу, которых преподносят верующие. Деканоз раздает куски мяса собравшимся снаружи людям. Там нет ни древних церковных книг, подаренных царями, ни священных обрядов. Если же вы желали насладиться зрелищем народного праздника, вам следовало приехать в июне месяце. Отсюда за три дня вы успели бы сходить туда и вернуться.

Мари Броссе было над чем призадуматься. К тому же несколько почтенных свидетелей, видевших все собственными глазами, подтвердили ему слова Зиссермана и опровергли утверждения тех, кто говорит понаслышке.

К полудню 24 сентября прибыли в Харчашо, крайнюю точку собственно Кахетии в северо-западном направлении. Мари

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.

Броссе осмотрел красивую епископскую церковь, выложенную из тесаного камня, без купола, с крытой папертью на юге и часовой из кирпича.

Отправились на юг, в сторону Бодави, где по ходу посмотрели церковь. Погода стояла мрачная, и путники, не задерживаясь, прошли в деревню, расположенную полуверстой далее. Поужинали без вина, ибо лоза здесь не растет, и Мари Броссе закончил вечер раздачей чая добрым поселянам.

Из Бодави отправились в Жинвали, по бревенчатому мосту перешли Араган. Древняя крепость возвышалась на правом берегу Черной Араган, неподалеку от ее слияния с водами Белой Араган. На высоком холме путешественнику показали остатки крепости, построенной, как говорят, царицей Тamar.

Усталый, не меняя лошадей, Мари Броссе направляется в Тифлис, где он сможет отдохнуть и привести в порядок свои записки. Тифлис встретил его дождем. Проводники валялись с ног, слуга Мари Броссе захворал, злоупотребив дикими фруктами Кахетии. Но Броссе утешает себя тем, что из всех достопримечательностей Телавского уезда, которые он хотел осмотреть, он упустил только церковь Цхракарн, на запад от Матани, и церковь Нодкора, между Лафани и Мцхета.

В Тифлисе Мари Броссе строит планы новых выездов. Как только позволят время и погода, ему хочется проехать по южному берегу Куры до Атени, спуститься к Алгети, осмотреть Манглиси и Самшвиаде, вернуться в Тифлис и на зиму отправиться в Эчмиадзинскую библиотеку, куда его приглашает преподобный Нерсес.

В главе четвертой, «Колыбель Багратионов», говорится о поездке Мари Броссе в южные земли Грузии, в сторону Ахалцихе и Вардзии.

В пятой главе рассказывается о поездке в Армению, в Эчмиадзин, в шестой — о прогулках Броссе по Тифлису.

VII

В МИНГРЕЛИИ У ДАДИАНИ

СЛЕДУЮЩИЙ выезд из Тифлиса привел Мари Броссе к границе Вольной Сванетии, в Абхазию, Имеретию и в наиболее отдаленные земли Рачи. Реже других посещаемые путешественниками, эти края сулили историчу интересные материалы для готовившейся им к печати «Истории Грузии».

Перед началом путешествия Мари Броссе спрашивает себя, не ждет ли его на земле князя Даднани значительное количество старинных памятников грузинской нации, в Абхазии — внушительные здания, в Сванетии и Имеретии — изобилие любопытных и интересных подробностей об интимной жизни народа. В том, что касается Мингрелии, Броссе намерен способствовать пересмотру укореннавшихся о ней предрассудков. Иные из них были пущены в научный оборот с легкой руки Шардена. Ни французский путешественник XVIII века, ни следовавшие за ним европейцы не знали местного языка и поневоле исказили картину жизни и обычаев народа, поставив под вопрос и его самобытную культуру, и особенности цивилизации, и приверженность к религии. Современная ему Мингрелия видится Мари Броссе по-прежнему страной чистого феодализма, но феодализма, перемешанного с обычаями, имеющими силу закона, с чудесной мягкостью и податливостью в характере народа, отмеченного снисходительностью со стороны сеньоров и самого князя».

По пути в Мингрелию Мари Броссе 31 марта присутствовал в Гори на церемонии похорон молодой княжны Бегтабеговой. «Хозяин траура», брат покойной, сидел на ковре в глубине низкой комнаты и принимал соболезнования родственников и друзей. Со словами утешения к нему обратилось несколько армянских священников.

Продолжая путь в сторону Кутанси, путешественник дважды вброд перешел Чолабуру. Внимание Мари Броссе обратили на речку Чишура, вытекающую, как ему сказали, из пещеры, якобы существующей под землей. Зимой рыба будто бы в поисках менее холодной воды проникает в пещеру, которую покидает с первыми лучами весеннего солнца. «Не знаю, — заключает Мари Броссе, — в какой степени эта история правдива, но аналогичные факты происходят на Тирольском озере, описанном в старинных Анналах Путешествий, и в самой Имеретии, в реке Грудо, находящейся по соседству с теми местами, где протекает Чишура, а также в пещерах на берегу Дзирулы».

В Хони, где некогда находилась резиденция епископа, запомнились большой базар, просторная и красная площадь перед почтовой станцией, церковь, обнесенная крепостной стеной. По городу гостя сопровождал лично князь Бежан Эривани, начальник Хонского уезда.

6 апреля предстояло перейти Цхенис-Цхали, пользующуюся мрачной славой. В сопровождении казака и двух местных жите-

лей Мари Броссе прибыл на берег реки, где уже собралось множество путешественников. Люди снимали обувь, осеяли себя крестным знаменем и, высоко над головой держа свой багаж, вступали в воду. «Цхенис-Цхали — «Лошадиная Река», — вспоминает Броссе, — текла бурной скатертью, не менее широкой, чем Нева, и угрожала далеко унести неосторожного или слабого: приходилось полностью сохранять хладнокровие». Броссе со спутниками удалось благополучно добраться до противоположного берега.

По пути в Мартвили пересекли цветущую, жизнерадостную долину и поднялись, как по этажам, с одного лесистого холма на другой, где лоза гирляндами перебрасывается с дерева на дерево. По наблюдениям Мари Броссе, люди здесь живут в условиях, близких к естественным. Не раз замечал он голых детей, играющих в листве и убегающих с криками при виде чужестранца.

По тому, что осталось от Мартвильской церкви — по остаткам карниза с резьбой, по окнам и дверям, украшенным с чудесным искусством, — можно было судить о ее былом великолепии.

Подкрепившись у доброго священника Дацерепа (или Гацерепа?) хлебом и крупной соленой репой и запив еду превосходным мингрельским вином, покинули Мартвили. На станции Абашинской сменили лошадей и вброд перешли Абашу. Для перехода через Техури расседлали лошадей: сбрую и кладь сложили, лошади вплавь пересекли реку, а люди сели на плот. Когда управляющий им лодочник отцепил канат — простой побег лозы, они сначала двигались вдоль берега, а затем течение снесло их далеко вниз. Там выбрались на противоположный берег. Таковы паромы в Мингрелии, заключает свое описание Мари Броссе, но люди почитают себя счастливыми, что есть хоть такие.

Множество рек, быстрых и капризных, и в дальнейшем пересекало дорогу на Зугдиди. В этом краю природа активно напоминает о себе, и если человек хочет сохранить дело рук своих, ему вновь и вновь нужно отвоевывать его у стихии. Если дорогу регулярно не расчищать и не укреплять, лет через двадцать ее поглотит буйная растительность и оставит лишь узкую тропу для лошадей и вьючных животных.

На земле Мингрелии Мари Броссе овладевает ощущением, что он погрузился в первоизданную природу. Со всех сторон окружающий его густой лес словно нехотя уступает время от времени немного места просекам. Воздух мягко обволакивает и будоражит. Всюду пышная растительность теснит человека или укрывает его, делает его присутствие незаметным. Здесь не увидишь

ни городов, ни каких-либо других поселений или дорог. И там не менее отовсюду слышны голоса, крики, шумы, приглушенные движения, причем так, что не замечаешь причины, издающей эти странные звуки. Жизнь прячется под густой листвой, и лишь узкая и извилистая тропинка может привести к какому-нибудь уютному дому, который дает кров семье. От этого дома к остальным ведут такие же тропинки. И когда обойдешь сотню жилищ с палисадами, составляющих «номинальный городок», обнаруживаешь, что по площади он равен столице большой империи.

На набросанном Мари Броссе обобщенном портрете «мингрелец серьезен и малоразговорчив, обычная бледность его лица оттеняется густой зеленью окружающей растительности, желтоватым цветом башлыка... Мингрелец кажется болезненным, хотя он здоров и силен, мягким и лишенным энергии, хотя он храбр и щепетилен в том, что касается чести. Грубым и малообщительным, хотя он любезен и гостеприимен: его следует изучить «вблизи, познать в интимном общении».

Если деньги здесь редкость, то продукты имеются в изобилии и народ пользуется плодами земли в состоянии, близком к естественному. Оживив торговлю, местный князь, или дядиан, намерен развить и промышленность. Мари Броссе хочет «надеяться, что его филантропические намерения осуществляться».

В Зугдиди станцию отремонтировали и свободных комнат не оказалось. Мари Броссе спросил у местного жителя, где находится нацвали, моуравн, любой служащий, кто мог бы предоставить путешественнику кров.

— Там, — ответил тот.

— Где?

— Там.

— Проведи меня, я заплачу.

— Мне некогда.

Тут Броссе вспомнил об имеющемся у него здесь знакомом. Того не оказалось дома, и никто не знал, где его найти. Путешественник расхаживал взад и вперед по базарной площади.

Тем временем княгиня Дядиани, узнавшая о прибытии Мари Броссе, распорядилась поместить его в одном из павильонов своего замечательного цветочного сада, где ее светлость принимает гостей.

Во дворце шли приготовления к пасхальному празднеству, и ни в тот вечер, ни на следующий день Мари Броссе не удалось увидеть князя. Он погулял и в зарождающемся городе, и в саду,

где по распоряжению дадиана и благодаря стараниям искусного садовника, прибывшего из Триеста, собраны редкие деревья и растения. Г-н Жозеф, садовник, ничем не пренебрегал во время осуществления задуманных князем планов украшения и прекрасно умел извлекать выгоду из особенностей почвы. По предварительно составленному чертежу он построил оранжерею и разбил цветник, посадил лозу. Садовник надеялся, что через несколько лет ее пышные побеги покроют подпорки и создадут густую завесу.

Зугдиди издревле служит резиденцией правителям Мингрелии, — размышлял Броссе. — Хотя княжеский дворец находится на северном краю просторной лужайки, где возвышается новая церковь, дадиан предпочитает жить в современном здании, вблизи сада, а подлинный Зугдиди, в полчасе пути отсюда, погружен в густой лес. Название городу дал, думает Мари Броссе, холм, к которому Зугдиди прислонился. Грузинское слово «зурги» — «спина» — обозначает, по его мнению, и пригорок. А образованные мингрельцы, и в частности оба князя Григор и Константин, получившие образование в Санкт-Петербурге, заверяли Мари Броссе, что «Зуг» вместо «Зурга» употребляется именно в этом значении. Зугдиди строится и расширяется, равняясь на Европу. Зять Александра Чавчавадзе, Давид Дадиани, — тот самый, которого царевич Теймураз рекомендовал Мари Броссе в качестве образованного проводника по Грузии, — намерен основать рынок местных продуктов и развивать идеи цивилизации как путем последовательных нововведений, так и налаживая контакты с внешним миром. Если, думает Броссе, местные жители и в будущем будут такими же деятельными, Зугдиди непременно превратится в цветущий город.

Встречает Мари Броссе неожиданное грустное напоминание о родине. На склоне перед церковью, посреди чащи, за крещеной деревянной оградой, какие можно видеть на кладбище Пер-Лашез, на чисто обработанной каменной плите высечена эпитафия: «Здесь покойся Теофиль Льетар, родившаяся 22 октября 1825, скончавшаяся 25 марта 1847 года. Прохожие, помолитесь за нее».

Покойная, молодая француженка, была женой предшественника г-на Жозефа, садовника дадиана.

В центре нового Зугдиди возвышается большое дерево с густой листвой. Под ним любят собираться праздные люди. Приходит сюда посидеть и дадиан, чтобы побеседовать с людьми, получить почести и удовлетворить прошения подданных.

Мари Броссе воспользовался пребыванием в Зугдиди, чтобы посетить близлежащие достопримечательности — монастыри Цанши и Холи, с намерением вовремя вернуться в резиденцию Дадзиани, чтобы поспеть к пасхальным торжествам. В ночь на Страстную Субботу, к десяти или одиннадцати часам, началась литургия. Дадзиани присутствовал на ней в парадном костюме, рядом с княгиней, в окружении князей и придворных в богатых нарядах. Церковь заполнили съехавшиеся со ста верст в округе верующие. В толпе можно было видеть абхазцев-христиан, которых легко распознать по их бритым головам и белому башлыку, положенному на плечо; мингрельцев и имеретинцев, преимущественно одетых в русскую военную форму с красным воротником; завоеванные в бою ордена украшали их грудь. Некоторые пришли в грузинских костюмах ярких и разнообразных цветов; согласно старому обычаю, волосы, бакенбарды и усы у них были окрашены в ярко-красный цвет.

В наступившей тишине раздалось согласное пение церковных гимнов. Затем митрополит в великолепном облачении велел открыть двери алтаря и произнес два слова: «Христэ агсдга» — «Христос воскрес». Последовал взрыв радости, все бросились обнимать друг друга. Подходили к князю и к его окружению засвидетельствовать свое почтение и заверить в своей преданности.

Постепенно, однако, спокойствие восстановилось. Паства слушала богослужение. Необычным показалось чужестранцу, что митрополит и духовенство тоже, видимо, испытывали подлинное удовольствие и разделяли общий порыв. Повторявшиеся на протяжении литургии sacramентальные слова каждый раз воспринимались по-новому и встречались взволнованными возгласами:

— Чешмартад агсдга! — Воистину воскрес!

Богослужение продолжалось до пяти часов утра, причем ни дадзиан, ни дамы ни на секунду не перадохнули, не присели на протяжении семи часов.

После богослужения гостей дадзиана, и в их числе Мари Броссе, пригласили перейти в банкетный зал. Прошли через парк, в конце которого возвышается здание в форме креста, с округленными углами. В нижнем этаже его несколько комнат предназначены для гостей. Красивая простая лестница, поднимаясь от земли с двух сторон, приводит в зал. Посреди зала крестообразный стол рассчитан на тридцать два прибора и предназначен для двора и для наиболее почетных гостей. На скамьях, расположенных по кругу, могут сесть более трехсот человек, но на

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.

самом деле умещаются на них до пятисот, когда ставятся дополнительные столы. Залы украшены скульптурами. По кругу открытой галереи в пространстве между колоннами тянутся деревянные кружева турецкой работы со стрельчатым орнаментом. В тот год край пострадал от опустошительной эпидемии холеры и, тем не менее, в трапезе принимали участие несколько сот человек. Заботясь о гостях и подавая им пример, князь велел одеться потеплее, ибо прохлада стала чувствительной.

Люди неосторожные плотно поели за столом дадиана. Им пришлось раскаться, ибо согласно церемониалу вскоре все отправилась к митрополиту, где собравшихся ждала сходная трапеза. «Некоторые нашли в себе достаточно пыла или преданности, чтобы все начать заново, большинство же прикидывалось. Раздавалось больше позвякивания, чем можно было усмотреть подлинной работы. Но как отдать должные почести третьему банкету, в новом помещении, у князя Григола, полковника императорской гвардии, родного брата дадиана? Вид стола, покрытого гомерическим завтраком, вызвал безумный хохот и, возможно, немало сожалений среди легиона танталов особого рода, оказавшихся без аппетита перед обильным столом. К счастью, заранее условлено, что комедия будет разыграна как можно менее плохо и что благородный амфитрион останется доволен доброй волей актеров. Тем не менее некоторые, казалось, приберегли для этого третьего акта остаток естественного веселья. В семь часов утра все отправилась отдыхать».

Три часа спустя большую площадь заполнила многочисленная толпа, шум которой напоминал жужжание всполошенного улья. Князь и дамы вышли на балкон дворца и любезно приняли комплименты вассалов. Самый бедный мингрелец приближался к ним почтительно, целовал у них одежду, преподносил им несколько крашенных яиц и возвращался одаренным дружелюбным словом.

Начались игры. Посреди лужайки водрузили мачту в три или четыре сажени и на нее поставили серебряный кубок. Всадники на всем скаку бросали в кубок легкую палочку, выпоченную из ветки орешника. Кубок следовало сбить прямым попаданием. Если же палочка сбивала кубок, лишь задев его в своем вращательном движении, приз водружали на место. Счастливым победителем, став обладателем кубка, подходил к князю, чтобы поблагодарить его и выслушать от него похвалу своей ловкости. Игру эту называют «кабах», «тынвой», потому что последнюю обычно помещают на шесте, даже если призом и является серебряный кубок.

На протяжении полутора часов более пятидесяти соперников пересекли ипподром со скоростью стрелы. Победителями оказались три князя — Малхаз Апакидзе и двоюродные братья Давид и Бату Пагава.

В духе перечисления добродетелей из «Мудрости вымысла» Сулхана-Саба Орбелиани, Мари Броссе отмечает три качества, необходимые для того, чтобы выиграть приз: большую ловкость наездника, твердую руку и верный глаз.

На другом шесте кубок служил мишенью для стрельбы из ружья. Соревновались также в верховой езде.

В два часа пополудни дадиан устроил пир для знатных гостей в зале своего дворца, а для народа — в своих садах. «Самые мои сил сказать, — вспоминает Броссе, — какое количество быков и коров закололи, сколько зарезали кур и цыплят, поданных под всевозможными соусами, сколько винных кувшинов разлили многочисленным сотрапезникам, которые хорошо подготовились к пасхальному празднеству суровым постом, длившимся семь недель. Но зато какая радость, какие возгласы, какие песни, прихлопывания, какие танцы! Пасхальный обед длился пять часов. Начали с маленьких рюмок, затем последовали обычные стаканы, после — чашки, чудовищные турьи роги и, наконец, вазы, подобные кубку Гераклеса, осушенному Александром. Вежливость тестов, варьирующихся на тысячу ладов, требует взаимности, от которой трудно отказаться; чаша зовет чашу, за рог расплачиваются рогом. У древних русских существовал кубок, называвшийся братина, название это столь сладостно и хорошо подобрано! У мингрельцев имеется другой, не менее грациозный застольный сосуд: два, три, четыре друга встают, переплетают руки и вместе, одновременно выпивают одинаковое количество щедрого вина. Разгоряченные этим совместным возлиянием, они целуются и идут предложить другим тот же церемониал братства...»

Князь Дмитрий Гурийский, сестры которого вошли в семью дадиана, привел прославленных в крае певцов. «Какое многоголосье, какие неотнимимые глотки, — восторгается Броссе, — какие странные и гармоничные звуки одновременно выходили из этих охваченных вином грудей и господствовали над шумом банкета!

Скажем к чести мингрельцев, что помимо шума и возгласов переполнявшей их радости, каждый так хорошо держался в пределах приличия, что знатные дамы без угрызений совести принимали участие в общем веселье. Ни в зале, ни в садах я не за-

метил человека, который утопил бы в вине свой разум. А ведь Бог знает, каким нектаром является «оджалешна», в особенности когда это вино молодое и смешано с другими сортами!

Князь был настолько добр, что велел принести для нас вино восемнадцатилетней выдержки. Еще терпкое, но щедрое, я могу сравнить его лишь с наиболее знаменитыми сортами бордоских вин. В Грузии мне знаком только один соперник «оджалешна», это — вино «катани», а превосходит их во всем мире разве что «токайское».

Празднество длилось три дня.

По вечерам Мари Броссе наблюдает народные хороводы и танцы. Одна или две пары берутся за руки и совершают простое движение в каденции назад и вперед. При многократно и неторопливо повторяемом возгласе «о, а, о, гора да шара» новые пары присоединяются к первым, возникает обширный круг, единым голосом подхватывающий кантилену «о, а, о, гора да шара».. По меньшей мере, гость расслышал именно эти слова, означающие: «гора и проезжая дорога». «Мингрелки, — по Броссе, — отличаются от европейских женщины, по части одежды, лишь вуалью, покрывающей их голову, огибающей лицо и острым концом свисающей сзади. Но движения их отрывочны из-за обуви, называемой о ч а п е х а, «на четырех ногах». (Обувь это и в самом деле состоит из двух дощечек, выточенных наподобие четырех ног и при ходьбе предохраняющих туфли от грязи, а ноги — от сырости).

«Второй танец, — продолжает Мари Броссе, — является грациозным олицетворением желания, преследования и отказа, за которым следует согласие. Танец исполняется на Кавказе под названиями «лезгинки, мингрелки, абхазки». В благородных салонах танец этот вызывает особую симпатию зрителей, когда какая-нибудь красивая супружеская чета может отдаться, не рана условностей, всей живости своих впечатлений».

14 апреля один из братьев дадмана руководил охотой, в которой приняло участие более двухсот всадников.

На следующий день Броссе отправился в Абхазию, увозя с собой память о доброте дадмана, о грации и достоинстве благородной дочери Александра Чавчавадзе Екатерины и о мингрельском гостеприимстве.

Месяц спустя французский посетитель еще раз вернулся в Мингрелию. На этот раз в кабинете дадмана Мари Броссе увидел любопытную коллекцию древностей. Князь собрал несколько сот греческих и римских монет, отчасти обнаруженных в последнее время, при раскопках бань Накалакеви. В коллекции дадмана

Броссе видел старинный серебряный перстень, обломок каменной стрелы, лезвие ножа с остатками позолоты и кольцом для подвешивания и, наконец, того самого грифона, которого подробно описал ему в письме Платон Иоселани!

Встречался Мари Броссе с князем и во время трапез. Стол у Давида Даднани бывал накрыт и сервирован на европейский лад. Богатая серебряная посуда символизировала роскошь сюзера. Однако мингрельцы, приглашенные к князю, едят сидя на длинной скамье, а блюда ставятся перед ними на другие такие же скамьи: у мингрельцев и других жителей Западной Грузии, по наблюдению Мари Броссе, нет привычки садиться на корточки, как это делают карталинцы и персы.

Откровенное веселье лучшего тона господствовало за столом даднани. Иногда беседовали с литературе и археологии, и каждый вносил свою лепту. Горячо обсуждались вопросы древности и достоинств мингрельского языка.

Во время путешествия слуга Симон, по поручению Мари Броссе, записал и передал ему множество фраз, услышанных им от мингрельцев. Сам Броссе написал по-грузински и дал перевести на мингрельский начало одного повествования. Все эти материалы он намеревается основательно рассмотреть по возвращении в Петербург.

«Мингрельский диалект, — делится своими наблюдениями ученый, — отличается большой мягкостью, пронизываемой от стечения гласных, от изъятия жестких грузинских согласных или от их частого преобразования в более мягкие для произношения звуки; наконец, от употребления полных и мелодичных дифтонгов и от сокращения многих слов».

От даднани Мари Броссе получил указания и распоряжения, необходимые для того, чтобы посетить наиболее интересные места в его владениях. Князь сообразовал выделить для гостя одного молодого тавада, который должен был служить ему проводником, доставать провиант, квартиру и необходимых лошадей. На время экскурсии князь предоставил Броссе крепкого и великодушного «бачу», верного и неустанного на подъемах и гористых дорогах иноходца. Кроме того, князь пожелал, чтобы гость путешествовал целиком за его счет.

Мари Броссе осмотрел коцхерскую церковь Богоматери, святилище Цаленджихи, местечко Шаорис-Кари.

У въезда в Лечхуми река Цхенис-Цкали мягко змеилась, и очарование зелени, дома, выделяющиеся точками в пейзаже, чи-

стые и хорошо возделанные сады, виноградники» напоминают Броссе одновременно «виноградники Франции и Кахетии».

Думая о труднодоступности иных архитектурных памятников и обобщая приобретенный опыт, Мари Броссе признается, что сбор надписей в Мингрелии, Лечхуми и других краях Грузии иногда «чуть не стоил ему жизни». Кроме научных целей, риск оправдывался и красотами природы. Чтобы живописать их, Броссе хотелось бы быть художником.

Среди различных испытаний, с которыми было сопряжено путешествие по Грузии, Мари Броссе выделил одно, имевшее место на границе между Лечхуми и Сванетией: «В этой долине я встретил одну из самых больших опасностей, которые когда-либо угрожали моей жизни. Постояв от спутников, я издали заметил крупное сломанное дерево, ствол которого, поддержанный другими деревьями, напоминал низкую дверь. Я мог обойти его, но близорукость не позволила мне в точности судить о его высоте и я вознамерился пройти снизу, не сойдя с лошади, что часто случается в подобных лесах. Так что я наклонился и прошел вперед. Но я плохо рассчитал, застряв между деревом и шишкой на луке седла, как в мощных тисках, мои ребра и бока хрустнули. На мой крик отчаяния умное животное остановилось, ко мне подбегало. Я находился почти в беспамятстве. То было досадное начало, так как на этот день нам предстояло еще пять часов форсированного хода, а следующие дни ожидалось еще более тяжелыми».

Независимо от жары, Мари Броссе надел куртку, подбитую мехом, и решил идти как можно дольше, чтобы вызвать у себя спасительный пот и поддержать кровообращение. Шел он три часа без отдыха, опираясь на палку с железным наконечником и подымаясь на лошадь лишь для того, чтобы пересекать ручьи. Однако вскоре, почувствовав слабость, Броссе остановил спутников. На траве разостлали две бурки, и, укрывшись третьей, он часок соснул. После чего продолжили путь и добрались до ночлега с последними лучами солнца.

В Лентехи, войдя в предназначенный для него дом, Мари Броссе увидел вокруг себя человек двенадцать сванов, пришедших сюда по своим делам. Путешественник напрасно попытался объяснить с ними при помощи своего грузинского.

В сжатой цепями гор Сванетии едва оставалось место для жизни нескольких тысяч человеческих существ и их животных. Понятно поэтому, что ни одна пядь земли здесь не потеряна. Сами люди носят на себе отпечаток скупости природы: они малорослы, худощавы, лица у них как бы сжатые.

«Но, — оговаривается Броссе, — я должен сказать в похвалу им, что нашел их живыми и веселыми, добрыми и услужливыми, мужественно переносящими усталость, и не мог довольно наудивляться той неукротимой энергии, с которой мои носильщики, на протяжении пяти долгих дней, преодолели те же трудности, с которыми я столкнулся верхом, причем они не дрогнули под тяжестью в один или два пуда поклажи».

В маленькой церкви Троицы в Шхети священник показался Мари Броссе таким бедным, что он решился предложить ему небольшое подаяние. «Какое было мое удивление, — рассказывает путешественник, — когда уезжая я услышал, как он сердечно упрекал деканоза в том, что тот не пришел просить у него гостеприимства, а позже, когда мы прибыли в убежище, я увидел, как от его имени принесли два кувшина превосходного вина и корзины с продуктами! Какое трогательное гостеприимство! Да воздаст ему Бог сторицею!»

Едва путешественники устроились в Лашхети в хорошем деревянном доме, принадлежавшем князю Григолу, брату дадиана, и сели перед хорошим огнем, как к Мари Броссе с визитом пришел князь Парнаоз Геловани, владелец имения в этой местности, с которым путешественник долго беседовал. Вскоре после ухода князя Броссе получил принесенные от него четыре пшеничных хлеба. Один рыбак, со своей стороны, преподнес Мари Броссе низку отменной форели, так что, несмотря на дождь снаружи и дым внутри, вечер путешественников прошел весело и ужин оказался приятным. «Что я сделал всем этим braveм людям, — думал про себя Броссе, — за что они свидетельствуют мне столько дружбы!»

Посещает Мари Броссе также Самурзакано и Абхазию (глава VIII), Имеретию и Рачу (глава IX). Памятным окажется для него посещение Гори.

Х

ГОРИЙСКАЯ ЗДРАВИЦА

КОГДА в октябре 1847 года Мари Броссе проезжал через Гори, он спешил достичь Ахалцихе еще до наступления зимы. Поэтому ему пришлось довольствоваться тем, что он просил князей Чолокшанли, Мачабели, Эрнстави, а также г-на Малеева, с кото-

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.

рым он здесь познакомился, перенести на весну внимательный осмотр края. По возвращении, к концу ноября, Броссе бежал от зимы и вновь смог лишь проехать через Гори.

Вернувшись из Эчмиадзина в конце февраля 1848 года, Мари Броссе решил остаться в Тифлисе ровно столько времени, сколько потребуется для подготовки трехмесячного путешествия по Западной Грузии. К тому времени город полностью освободился от снега и от ужасной грязи, толстой скатертью покрывавшей его во время оттепели.

14 марта Броссе намеревался выехать в Гори, но с утра начал лить холодный дождь, который шел всю ночь напролет и на следующее утро превратился в мягкий снег, подлинный завтрак для солнца.

Оттепель наступила только через неделю. 26 марта, решив, что дороги уже укрепились, Броссе отправился из Тифлиса и по пути остановился лишь для осмотра великолепной церкви Самтависси и для снятия ее плана. В Самтависси он встретил молящегося князя Амилахвари, высокого и красивого, с орденом Святого Станислава на груди. Князь оказался столь любезен, что охотно показал посетителю все, что могло его заинтересовать.

На следующий день по прибытии в Гори Мари Броссе засвидетельствовал свое почтение начальнику уезда, князю Захарию Чолонашвили, и г-ну Панасенко, его коллеге. Последнему в прошлом году удалось очистить край от банды разбойников, промышленлявших на большой дороге.

28 марта Броссе в сопровождении есаула посетил Руиси и Урбинси, проделав путь на отменных иноходцах, одолженных им князьями Георгием Мачабели и Георгием Эристави.

В ризнице церкви Руиси Мари Броссе видел рукописи, гниющие в сырости, «как и все то, что существует в виде книг в грузинских церквях; так что через пятьдесят лет не останется ни одного клочка от древней литературы», — сокрушается он.

В Урбинси ученый переписал и древние надписи, и одну сравнительно новую, посмотрел огромный Гулани — сборник гимнов, хорошо написанный на прочной бумаге, но плохо сохранившийся, с разрозненными листами и без подписи переписчика.

В Атзни Мари Броссе отправился в сопровождении князей Георгия и Элизбара Эристави и других любителей старины. Недалеко от Атзни Мари Броссе видел знаменитые виноградники, посаженные в виде крытых аллей, называемых «хевани», и дающие отменное вино. «Испробовав этого вина в Джебуре, — свидетельствует он, — в сельском доме князя Эриставишвили, я не колеблясь подписался бы под суждением Вахушти, который



объявляет его превосходным среди всех, «царчинебули». Оно оказалось «белым, легким... теплым и столь приятным на вкус, что подобного не встретишь во всей Грузии: из него начинают готовить нечто вроде шампанского».

Копии надписей Атэнской церкви уже были опубликованы, и Мари Броссе на месте, с помощью князей Георгия и Элизбара и одного армянского священника, проверил, насколько копии были точны.

Не только к прошлому, но к настоящему и к росткам будущего Грузии Мари Броссе присматривается с пристальным вниманием. Описание стекольного завода Элизбара Эрнстави превращается, под его пером, в живую картинку: «Видеть эти просторные здания, которые необходимы для эксплуатации стекольного завода, эти зажженные печи, этих людей, деловито расхаживающих, плавящуюся массу, которая, под импульсом стеклодувов, вытягивается в бутылки, закругляется в шары, приобретает форму флаконов, всевозможных колб любой величины; думать о том, что грузины задумали и осуществляют столь трудное предприятие, что они посвящают крупные капиталы, свой ум развитию столь полезной, столь необходимой промышленности в стране виноделия: разве это не обрадует всех тех, кто любит Грузию, не побудит их благословить правительство, поощряющее примечательных предпринимателей?.. Будем надеяться, что прогресс произойдет, что стекольный завод Бнависи станет матерью многих других предприятий, к великой пользе страны».

30 марта Дмитрий Мегвинетхуцеснишвили сопровождал Мари Броссе в Горис-Джвари, к «Горийскому Кресту». Это совсем маленькая церковь, построенная на вершине довольно высокой горы. Церковь хорошо видна из города, из-за Куры, и даже с более далекого расстояния. Броссе нашел в ней серебряный образ Святого Георгия верхом и различные подношения, происходящие от набожности верующих: ружье, круги из проволоки, которые кладут на шею, чтобы добиться излечения от болей, успеха в каком-либо деле; оленьи рога, сети; восковые шарики, которые подвешивают на шею от дурного глаза. Над дверью находилась голова барана из камня.

Кроме Атэни, Мари Броссе посетил в Горийском уезде Дзеган, Цинарехи, Лавру, Кавтисхеви.

В богатой библиотеке Кавтисхеви хранилось когда-то несколько сотен рукописей, зарытых в землю во время татарского

нашествия и извлеченных много позже, уже гниющими. От разрушения спаслось всего несколько актов.

В самом Гори Мари Броссе не встретил много древних памятников. Соответственно и урожай надписей оказался не очень внушительным. Перед городской крепостью стоит наполовину погрузившаяся в землю большая пушка, на которой написано: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь. Господи, распрости гнев свой на расы, которые не знают тебя. Да падут на них раскаленные угли и да не смогут они устоять против них. Именно это говорю я, царь Ираклий, 1 марта 1770 года».

Подобная речь, думает историк, очень даже подходит старому царю в тот самый год, когда он разбил врагов в Ахалцихе и отрубил три тысячи турецких голов.

В 1787 году царь Ираклий реставрировал крепость стараниями своего сына Юлона и средствами жителей Гори и равнинного края, от Мухрани до Сурами. Сегодня ничего не осталось от этих работ, кроме крепостной стены и жилищ. К тому же далеки те времена, когда грузинским монархам приходилось содержать здесь многочисленный гарнизон: нынешние солдаты, размышляет Броссе, едва слышали о турках и персах.

Исследовав лишь «малую часть Горнийского уезда», Мари Броссе потерпелся с отъездом. Было 31 марта. В эту весеннюю пору ожидался паводок на дорогах. Ибо часто талые снега в горах выводит из строя или, по меньшей мере, делает опасным броды Цхеннс-Цкали, Энгури и Кодори.

Покидая Гори, Броссе сожалел о том, что ему пришлось отказаться от «не менее приятного, чем выгодного» предложения: Дмитрий Мегвинетухцесишвили вызвался сопровождать его в дальней экскурсии.

Вместе с поэтом, а в будущем известным драматургом Георгием Эристави нанесли визит его брату Якову (близкие звали его Кона) в Меджарискеви. Этот князь, высокий и представительный мужчина, занимал с семьей комфортабельный дом, устроенный на европейский лад. Мари Броссе представили семье хозяина, он видел его красивых детей. Но князь Кона простер гостеприимство дальше и в течение нескольких дней показывал путешественникам свои владения. Об этом достопримечательном знакомстве Броссе еще представится возможность с удовольствием вспомнить.

В Канчети, резиденции азнауров Канчавели, внимание Броссе обратили на источник, вода которого обладает странным свойством. Путешественник «погрузил в нее двадцатикопеечную серебряную монету и через десять минут вынул ее так хорошо

позолоченной, что ее можно было принять за полумиллиард. Правда, эта красивая окраска со временем изменилась под воздействием трения, но когда (Броссе) хорошо обернул ее, она сохранила чувствительные остатки этого изменения цвета».

В церкви Кабени вид пергамента, покрытого пылью, пропитанного сыростью и изъеденного червями, вырвал у Мари Броссе горестный возглас: «Разве не вызывает отчаяние это отсутствие заботы, из-за чего постепенно исчезают древние памятники литературы, которую считают бедной потому, что не знают ее, и потому, что она гниет ежедневно!»

По дороге в Коринту путешественники утоляли жажду возле одного из тех чистых и прозрачных источников, которые часто встречаешь в Грузии, и прочитали на нем надпись: «В 1848 году, в июле месяце, я построила этот источник, Елена, жена Джомара. Прошу вас, замолвите слово о прощении для Джомара».

Наметанный глаз историка сразу подметил неувязку: ведь на календаре было всего лишь 21 июня 1848 года!.. Мари Броссе впервые столкнулся с чисто женским подходом к хронологии: «...в противоположность остальным, добрая Елена омолаживала свое произведение».

Уже не раз Мари Броссе замечал у грузинской знати стремление обставить свое поместье на европейский лад. Не составляли исключения в этом смысле владения князя Иосеба Ратишвили в Ксовриси. На их примере француз обобщил свои наблюдения: «...дом [князя Ратишвили] построен на европейский лад и содержится со всем желательным комфортом. Трудно себе представить, какой ценой обходится так обставить свой дом в Грузии. Комод, европейский диван являются предметами роскоши. Зеркало сносных размеров стоит бешеных денег, стулья на соломе или плетеные из камыша, которыми каждый из нас обладает, не придавая этому значения, здесь считаются разорительной покупкой. Почему, могут спросить, грузинам не научиться производить все это? Потому, что если перечисленную утварь им предложат сделать самим, они предпочтут и впредь никогда не иметь ее, перестанут испытывать в ней необходимость, не захотят и слышать о ней. Желать эти предметы уже является признаком интеллектуальной культуры; обладать ими предполагает огромные доходы: эти две вещи пока еще не очень распространены здесь».

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.



Вечером князь Иосеб предоставил Мари Броссе возможность переписать за столом в его кабинете не один любопытный документ.

Во время его путешествия по Грузии к Броссе поступали со всех сторон рукописи, документы, книги. Факты и рассказы возникали на его пути как богатый урожай многих годов труда, исподволь подготовивших его первое свидание с изучаемой страной.

Красноречивым эпилогом и к поездке в Горийский уезд, и в целом к путешествию по Грузии могло бы послужить приглашение ассамблеей горийских дворян Мари Броссе на торжественный банкет в его честь, данный 30 марта 1848 года. «Этот день, — заметит Броссе, — не сотрется в моей памяти».

На обеде присутствовало шестьдесят шесть дворян, азнауров и русских чиновников. От имени собравшихся здравницу Мари Броссе стоя произнес князь Георгий Эристави:

«Господин Броссет! С того дня, когда иверы услышали о высоких трудах ваших, посвященных изучению языка нашего, археологии и истории нашей страны, высочайшим желанием нашим стало увидеть вас на земле нашей родины и выразить вам благодарность нашу! Исполнилось наше сердечное пожелание! Мы видим вас среди нас».

Оратор перевел дыхание и обвел взглядом присутствующих. В возникшей паузе Мари Броссе повторил про себя: «Иверы». Слово это болью и теплым чувством отдалось в нем, напомнив Захария Палавандишвили. И еще сработала аналитическая привычка лзыковеда: он обратил внимание на слова «высочайшее желание», дословно в устах князя обозначавшие «вершиннейшее желание», и зафиксировал для себя этот штрих, естественно вяжущийся с мироощущением живущего среди гор народа.

Тем временем князь Георгий продолжал:

«Господин Броссет! Сия полная чаша есть залог нашего глубочайшего уважения к вам. Пусть донесет она до вас единый голос наших соотечественников! Память о тебе перейдет к детям и внукам нашим, и они с уважением произнесут имя твое!»

Рука оратора неторопливо и величаво описала чашей полукруг в воздухе:

«Господа! Выпьем во здравие господина Броссета, который любит язык Руставели, Петрици и Хонэли и который знакомит с этим языком просвещенные народы, края и страны».

Стоя переждав пока стихли возгласы и опорожнились бокалы, Мари Броссе наклоном головы поблагодарил князя и всех сотрапезников и в наступившей сосредоточенной тишине заговорил по-грузински:

«Господа, князя, азнауры и все благородное горьское общество! От души благодарю вас за благосклонность и уважение, проявленные ко мне. Но я не настолько горд, чтобы отнести к себе столь почетный с вашей стороны прием. Думается мне, что к такой мысли привели вас стремление к науке и любовь к отечеству, поскольку Бог пожелал избрать меня недостойного для пробуждения литературы грузинской, о чем пекусь в меру моих возможностей.

Было время, когда расцветали в Грузии учение и стремление к искусствам, преимущественно — со времен Баграта Третьего до нашествия монголов. Протекли три столетия могущества, и сливались народ грузинский и царствование его монархов. Затем по стечению обстоятельств Грузия была так притеснена силой Османской империи и Персии, так опечалена и принижена, что необходимым стало прибегнуть к покровительству России».

Далее Мари Броссе — тоже волею обстоятельств — возносит хвалу государю императору, его наместнику на Кавказе князю Михаилу Семеновичу Воронцову и президенту Академии графу Сергею Семеновичу Уварову. Даум последним обязан ученый и возможностью осуществить путешествие по Грузии.

Но перед тем как произнести неперемные и «номенклатурные» слова благодарности, Мари Броссе хочет обобщить великий дух Века, окрыленного человеколюбивыми надеждами — несмотря на жестокие столкновения и не раз проливавшуюся кровь — и дать добрый совет:

«Не забывайте, князя и азнауры, что ныне, подобно царю и царице, правят в мире науки и искусства. Постарайтесь и вы просветить юношество различными знаниями и ремеслами. Помогите сами себе, а Бог не обделит вас своим милосердием. Соединюсь с вами и я — сердцем и трудами».

На этой ноте единения прощается Мари Броссе с Грузией, чтобы вновь повстречать ее в своих будущих изысканиях, но уже — в облике преображенном.

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.

ЭХО ШАТЕЛЬРО

ПОТОМОК РОДА ЭРИСТАВИ

ЕЩЕ не отдалились картины Грузии, еще не улеглись будоражащие впечатления встреч с ее природой и людьми, когда летним утром 1949 года Мари Броссе находит среди прибывшей в Петербург на его имя корреспонденции письмо, подписанное князем Рафизлом Эристави: «Весьма сожалею о том, — пишет молодой князь, — что до сих пор не написал Вам письма, после знакомства нашего в Кахетии».

Да, в Кахетии... Перед взором Мари Броссе вновь проходят обстоятельства знакомства с милым семейством, радость общения с которым омрачила печаль встречи с траурным кортежем князя Андроникова. Гостеприимный и просвещенный очаг Давида Эристави в Кистаури, образованная и радушная хозяйка дома и столь же умная, сколь и прелестная юная княжна Анна... И, конечно же, отец и сын Давид и Рафизл Эристави, достойные потомки арагвских владетельных князей, истые грузины и ярко выраженные личности. Отец — с поразительным через край темпераментом, влюбленный в жизнь и в приключения, многочисленными нитями связанный с родной Арагви и горами... Как забыть беспечный богатырский сон князя Давида в стоге сена после небезопасной вечерней прогулки в Гомборских горах? Часть своих владений отец и сын показывали Мари Броссе вместе, а далее его сопровождал один только Рафизл: с карандашом и при сабле. Пусть затухающий отголосок прошлого, но сколь характерен этот штрих для сына Грузии: карандашом он списывает с церковных стен и кладбищенских плит свидетельства прошлого, а саблей готов отразить неожиданное нападение врага; не так ли на протяжении веков культура, мысль, искусство утверждались на грузинской земле при одновременной неуспянной заботе о сохранении самой жизни их создателей? И все же между отцом и сыном Мари Броссе улавливает разницу, быть может характерную и для смены поколений: рядом с «природной силой», как сказали бы французы, природы князя Давида молодой Рафизл, сохраняя основные свойства семейной стойкости, тонкое ощущение и знание родного края, про-



яллет, по сравнению с отцом, большую склонность к рефлексии: научной и художественной. И хотя по дорогам Кахетии сопровождал двадцатитрехлетний молодой человек, он уже тогда успел зарекомендовать себя вниманию читающей публики своими очерками во вновь основанной газете «Кавказ», одним из внимательных читателей которых был и Мари Броссе. Накануне задуманного путешествия в Грузию последнего не могли не привлечь окрашенные мягким юмором зарисовки быта и нравов в «Письмах» из Телави, «Свадьба у грузин», даже «Охота на фазанов». А со временем Рафизл Эристави стал гордостью родной литературы. В лице князя Рафизла Мари Броссе познакомилась со своеобразным явлением новой грузинской культуры.

И воспоминания нахлынули с первыми грузинскими строками его письма. Извиняясь за то, что долго собирался написать, корреспондент продолжает: «Надеюсь, что Ваше доброе сердце простит мне это и что не отринете Вы меня. Поистине всегда желал и ныне желаю поддерживать с Вами переписку. Счастливым почту себя, если небольшой запиской сообщите Вы мне о приятном для меня мирном здравии Вашем».

Непосредственным толчком к написанию письма явилось желание Рафизла уточнить, принадлежит ли проживающий в Петербурге некий Дмитрий Степаныч Эристави, действительный статский советник, член Морского министерства, к ветви арагских Эристави и, следовательно, приходится ли он им родственником.

Подобное генеалогическое разыскание вполне импонирует Мари Броссе. Он, как всегда, с обязательностью отнесся к просьбе, навел справки, встретился с Дмитрием Эристави, наладил его эпистолярный контакт с Рафизлом. Статский советник действительно оказался арагским Эристави.

В первом письме Рафизла приведен обратный адрес: жил он тогда в Тифлисе в доме князя Арчила Багратон-Мухранского, возле Мухранского моста.

Дальнейшая переписка Рафизла Эристави и Броссе затрагивает и другие вопросы: одни из них пополняют их человеческую характеристику, другие отражают научные интересы корреспондентов.

Прежде всего Рафизл, конечно, упоминает о близких, передает Броссе приветы от своего отца, Давида Эристави, и «тысячу благодарностей» за добрую память о нем. Говорит он и о своей сестре Анне, поразнавшей гостя при встрече: «Сестру мою, знакомую Вам, увез муж и пребывает она во здравии. Часто вспо-

...минает она о Вашей приятной беседе и удивляется Вашему глубокому знанию грузинского языка.

Со своей стороны, передает привет отцу и сестре Рафизла и Мари Броссе. А еще он просит молодого грузинского друга напомнить Зиссерману о тура. Рафизл тотчас же написал Зиссерману, а в письме к Броссе дал и свое предположительное объяснение задержки: «Мне кажется, что тура Зиссерман Вам не смог прислать по той причине, что вскоре после Вашего отъезда его из Пшав-Хевсуретин перевели приставом в Элисо. Однако я, со своей стороны, в письме напомнил ему о Вашей просьбе и надеюсь, что если в Элисо можно достать тура, Зиссерман непременно вышлет Вам его... К тому же турия шкура сейчас не годится и охотятся на зверя обычно зимою. Сам я хоть и нахожусь в городе, но, быть может, со своей стороны постараюсь достать тура в Хевсуретин, если пожелаете. Однако с определенностью не могу обещать Вам этого, так как целого тура трудно снести со скал: туша убитого зверя обычно бывает повреждена при падении. Но сил своих не пожалею, лишь бы выполнить Ваше желание».

Чучело тура Мари Броссе нужно для зоологического музея Академии. Естественно поэтому, что речь о звере продолжает идти в третьем письме Рафизла Эристави, приносящем на берега Невы приятную новость: «Сказанное Вами о турии шкуре я сообщил Зиссерману: он достал шкуры двух туров и прислал сюда ко мне, а я с этой почтой высылаю их Вам — одну большую и другую поменьше. Рога у обоих отсохли и отпали здесь же, но на месте их можно приклеить. Надеюсь, что шкуры не испортятся в пути, так как мы их хорошо засолили».

Необычная посылка прибыла в Петербург, и 22 ноября 1849 года Броссе отвечает Рафизлу Эристави: «... вот уже четвертый день как я получил турии шкуры и Ваше письмо. Очень благодарен Вам и Зиссерману. Представил в Академию: шкуры понравились...»

Вскоре выяснилось, что одна турия шкура испортилась. Но Рафизл Эристави, охотник не без опыта, хоть и сожалеет об этом, не преувеличивает значение случившегося: «... что поделаешь, путь лежал далекий и хорошо, что не испортились обе».

В переписке друзей, естественно, речь идет и о вопросах истории Грузии, в частности — о письме, написанном в 1657 году тушинцами, пшавами и хевсурами российскому императору Алексею Михайловичу. Вопрос этот, как и все то, что было связано с историей родных мест, живо интересовал Рафизла Эристави, и Ма-

ри Броссе прислал грузинскому другу переписанный им текст письма.

Тем временем их общий знакомый побывал в научной командировке в Греции, и 22 августа 1849 года Рафизл Эривани сообщает Броссе: «20-го сего месяца Платон Иоселвани прибыл из Греции, откуда он, по его словам, привез множество ценных исторических сведений и грузинских книг. Дай Бог, чтобы грузинская история пополнилась честным и драгоценным трудом таких людей, как Вы и он».

Основной целью поездки Платона Иоселвани в Грецию было посещение грузинского монастыря на Афонской горе и ознакомление с его богатой коллекцией грузинских рукописей. Свою научную миссию грузинский ученый готовил исподволь и с надеждами, сходными с теми, которые еще в Париже Мари Броссе возлагал на путешествие по Грузии. В курсе замысла был и Броссе, у которого еще в 1838 году Платон Иоселвани спрашивал, собирается ли Петербургская Академия что-либо предпринять для ознакомления с рукописными фондами монастыря на Афонской горе. Как и приезд Мари Броссе в Россию, вопрос о четырехмесячной командировке Платона Иоселвани в Грецию решался на высочайшем уровне, и государь император лично поразмыслил о ее целесообразности. Мари Броссе уже начал осваивать механизм подобных решений и поэтому он вдвойне радовался и тому, что поездка его грузинского коллеги могла состояться, и ожидавшимся от нее научным результатам.

Рафизл Эривани пишет Броссе и о том, как Грузия ценит его труд, и, подобно другим корреспондентам петербуржца, посылает ему копии древних надписей. Отношение грузинской общественности к Мари Броссе Рафизл Эривани обобщает в словах: «...Вы незабываемы для Грузии, так как столько трудитесь для литературы и истории ее».

25 октября 1852 года Рафизл Эривани пишет Броссе об известном деятеле грузинской культуры Иване Кереселидзе: «...есть у меня к Вам небольшая просьба: один мой друг, Иван Кереселидзе, составил на грузинском языке хрестоматию, которую для рассмотрения отослали в Петербург. Думаю, что Вам не составит труда исполнить эту просьбу так как рукопись, очевидно, передадут либо Вам, либо Чубинову. Прошу Вас не быть суровым с бедным моим другом и дать Ваше разрешение на то, чтобы эту хрестоматию приняли в качестве учебника в училищах, чем Вы

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.

весьма обяжете смиреннейшего слугу и вечно уважающего Вас князя Рафизла Эристави».

В следующем письме дополнительно сказано: «Если в хрестоматию г-на Кереселидзе Вы сочтете нужным внести исправления, автор не только не обидится, но будет Вам весьма признателен и обязан».

В 1855 году, когда писались эти строки, Ивану Кереселидзе было двадцать шесть лет. Два года спустя ему предстояло стать во главе первого грузинского литературного журнала «Цисиари», вокруг которого группировалась талантливая молодежь. Помимо переводов и различных сочинений в прозе, Ивану Кереселидзе обогатил отечественную литературу и стихами своего сочинения. Знакомство с его деятельностью вводило Броссе в гущу новейших исканий грузинской музыки.

Рафизл Эристави сообщает своему корреспонденту и о культурных новостях Грузии: «Вам понравились комедии, написанные Антоновым. Они и в самом деле превосходны. Он еще учился искусству писать, но Бог лишил нас хорошего писателя: бедный Антонов скончался от последствий укуса башенной собаки. Г-н Георгий Эристави тоже пишет недурно, однако его переводы с русского менее хороши и грузинский язык несколько извращен и труден для понимания; в остальном же пишет он неплохо».

От Рафизла Эристави узнает Мари Броссе и о книжных новинках, в частности — о выходе грузинского перевода «Гора от ума» Грибоедова. Об интересе Броссе к Александру Грибоедову, постоянно возраставшем с того далекого дня, когда он в Париже по слогам расшифровал для себя краткое сообщение «Тифлисских Ведомостей» о русском дипломате, свидетельствует и то, что ученый проявляет желание познакомиться, помимо подлинника, и с грузинским переводом знаменитой комедии.

Интенсивное научное и художественное творчество вело каждого из корреспондентов своим путем, реальных точек схождения их интересов больше не оказалось, и переписка Рафизла Эристави с Мари Броссе естественным образом прервалась. Но не иссяк, надо думать, интерес каждого из них к продукции партнера. Рафизл Эристави пережил старшего друга, и на заре нового, XX столетия, его торжественно чествовала вся Грузия. В делах и свершениях грузинского поэта, в формировании его личности, конечно, не прошел бесследно тот день его молодости, когда на дороге Кахетии он повстречал француза, которому ничто грузинское не было чуждо.

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ

СМОЛОДЫМ грузином Дмитрием Мегвинетхуцесишвили, фамилия которого была слишком длинной для французского слуха, но удобно поддавалась дроблению на три части с дефисом— Мегвинет-Хуцесис-Швили, Мари Броссе познакомился тоже во время достопамятного своего путешествия по Грузии, в Гори, был принят в его доме. Подобно тому как Рафизл Эристави сопровождал ученого путешественника в его поездках по Кахетии и Пшавии, Дмитрий Мегвинетхуцесишвили стал его верным спутником на дорогах Горийского уезда, во владениях Эристави. При близком общении Дмитрий Мегвинетхуцесишвили был покорён и характером Мари Броссе, и его методом работы. Симпатия оказалась взаимной. Броссе отметил, что во время путешествия по Грузии «...г-н Дмитрий был столь же приятным, сколь и полезным спутником благодаря его стойкости и помощи». И со свойственной ему душевной щедростью Броссе относил на счет спутника «лучшую часть своих находок».

В душе молодого грузина теплилось смутное желание послужить родине: встреча с французским ученым определила форму этого служения. Увлечшись фиксированием и собиранием следов отечественной древности, Дмитрий Мегвинетхуцесишвили оказал ощутимую услугу Мари Броссе во время его путешествия по Грузии. Оставшееся неосуществленным учений поручил своему верному спутнику продолжить без него. Он оказался первым среди грузин, кто стал систематически описывать грузинские исторические памятники и собирать пощажённые временем древние надписи.

О благоговейном отношении Дмитрия Мегвинетхуцесишвили к Мари Броссе свидетельствует следующее. Сразу после памятного обеда в Гори 30 марта 1848 года молодой грузин записал и слова здравницы, и ответный благодарственный тост гостя, осознавая ценность этого свидетельства для истории грузинской культуры. Описание обеда Дмитрий послал Мари Броссе, еще продолжавшему путешествовать по Грузии.

3 июня Броссе ответил (по-грузински) из Кутаиси:

«Милостивый государь Дмитрий Константинович!

Вот уже четыре дня как я получил Ваше письмо от 9 апреля, равно как и статью «Обед». Я очень признателен Вам за то, что



Вы так цените мой труд. Радуюсь, когда вспоминаю о том, что благородная горийская общественность с таким пламенным желанием и любовью приняла участие в моем путешествии и в моих разысканиях».

И далее — о совместных планах: «Весьма желаю я, чтобы осталось у меня хотя бы две недели для Горийского уезда, чтобы мы смогли вместе осмотреть некоторые места».

Прошу Вас составить для меня маршрут. Скоро я приеду в Гори. Думаю задержаться в Раче дней на десять. Вы же тем временем готовьтесь, осмотрите что-нибудь, чтобы затем показать мне. А позже, может быть, Вы завершите начатое мною».

Взаимопонимание между Мари Броссе и Дмитрием Мегвинетхуцесишвили достигалось с полуслова. Все в действительности произошло именно так, как представлялось ученому. А следующие слова Броссе прекрасно резюмируют его «бюджет времени» в дни путешествия по Грузии: «Простите, что пишу кратко, потому что у меня мало времени и много дел». «Мало времени и много дел» — слова эти применимы и ко всей целеустремленной и наполненной до краев жизни Мари Броссе.

После отъезда последнего Дмитрий Мегвинетхуцесишвили продолжает совершать самостоятельные археологические путешествия по Грузии, отчеты о которых он направляет в Петербург. Мари Броссе переводит их на французский язык и публикует в Трудах Академии. Так с путешествия Броссе начинается своеобразная эстафета комплексного изучения культурных древностей Грузии.

Из Петербурга академик и поддерживает, и направляет поиски Дмитрия Мегвинетхуцесишвили, составляет для него маршрут и инструкцию. Дмитрий верно следует наставлениям учителя: «Описание церкви составляю так, как Вы велели. Хочу по отдельности описать все имеющиеся в Грузии старинные церкви, монастыри, кресты, иконы, списать все древние надписи в дошедшем до нас виде». В общей сложности он объездил с научной целью районы Гори и Сурами (в 1848 и 1849 годах), в 1850 году посетил Имеретию и Самхити, а в 1851 году — Сацциано.

Обобщив добытые грузинским другом материалы, Мари Броссе в феврале 1852 года выступил с докладом в Академии, а затем опубликовал свои соображения в газете «Кавказ», где с восхищением отозвался «о молодом грузине, пламенном патриоте, одаренном поэтическими способностями, который посвятил себя отысканию отечественных древностей».

Теплом дышат строки письменного обращения Дмитрия Мегвинетхуцесишвили к Броссе от 19 октября 1848 года: «Дорогой,

подобно родителю, Марий Иванович! Проявленная Вами ко мне отеческая любовь отныне будет улаживать ум мой и побуждать описывать Вам все обстоятельства моей жизни».

Официальное оформление командировок Дмитрия Мегвинетхуцесишвили проходило через канцелярию наместника. С бюрократической одиссеей своей Дмитрий подробно рассказывает Мари Броссе. В ожидании оформления бумаг Мегвинетхуцесишвили успел вернуться на свою службу в Горийский уездный суд. Наконец в Тифлисе все уладили, но тогда горийское начальство отказалось предоставлять отпуск своему служащему. Пришлось дожидаться официального «предложения» от губернатора. В тщетном ожидании прошло лето. 9 сентября поступило, наконец, долгожданное «предложение», и уже шестнадцатого числа Дмитрий отправляется в путешествие, которое он подробно опишет для Академии.

Помимо собирания археологических сведений, Дмитрию хотелось бы поработать, по примеру учителя, и на ниве истории. Он добыл материалы о жизни царя Ираклия, намерен собрать существующие о нем народные предания и что-нибудь написать на память о пребывании Мари Броссе в Грузии и ему же посвятить плод своих трудов.

Помнят о друге грузинской культуры и в Гори: общавшиеся с ним люди собираются вместе, пьют за его здоровье, а благодарят за тосты и добрые пожелания от имени Броссе Дмитрий Мегвинетхуцесишвили!..

В день поступления вестей от Дмитрия, 16 ноября 1848 года, Мари Броссе отвечает ему дружеским и деловым письмом, радуясь интересу грузин к отечественной истории как чему-то, непосредственно касающемуся его: «...слава Богу, из любви к отечеству и науке грузины начали собственными глазами осматривать древние достопримечательности Грузии! Да будете Вы здравствовать за то, что побывали в Саццицано и в той западной части Горийского уезда, которой я не видел! Несомненно, нашли Вы там немало достопримечательных надписей в храмах и монастырях».

Из письма к другу видно, с какой ответственностью отнесся Мари Броссе к своему путешествию по Грузии и как в результате систематического труда все, добытое на месте, запечатлелось в основательном научном описании: «С миром вернувшись сюда..., я немного отдохнул и неделю тому назад начал писать о своем путешествии. Так ото дня ко дню получится большая кни-



га, где во множестве можно будет найти и замечательные сведения о Грузии. Очень я этому радуюсь. Потому что невежественные люди порицают, хулят грузинскую словесность, утверждая, будто дурна она и будто ничего хорошего не найти в грузинском краю. Увидят они в свое время!»

Молодой задор и неподдельная радость красноречиво характеризуют душевный настрой неукротимого энтузиаста. С признательностью упоминает в своих «рапортах» Броссе и об участии Димитрия Мегвинетхуцесишвили в его экспедициях и поездках.

Невзирая на то, что не покладая рук трудится он на ниве грузинской культуры, никогда Мари Броссе не воспринимает сказываемые ему внимание и почести как нечто должное: «Не забыл я о том, с каким радушием был принят у Эриставишвили, как возили они меня повсюду, показали эриставство и принимали меня во дворцах. Бедный чужестранец вроде меня, встретив такую человеческую доброту, ежедневно будет поминать об этом и тем самым найдет усладу в сердце своем».

Подлинное величие в этих словах и в подобных чувствах. А еще — в потребности доводить до сведения молодого друга состояние своих трудов, как бы отчитываться перед ним и перед Грузией в том, какая польза извлечена им из уходящих дней: «Осталось мне на два с половиной месяца работы, чтобы описать путешествия по Одиси, Абхазии, Сванетии и Имеретии, для чего собран мною большой материал». Однако, не довольствуясь собранным, ученый просит Димитрия Мегвинетхуцесишвили переписать и прислать ему еще другие грамоты, документы, делаясь с ним предположением о том, у кого могли бы сохраниться такие древние рукописи.

Жизнеописание царя Ираклия Димитрий Мегвинетхуцесишвили и в самом деле составил и в конце 1848 года отослал Мари Броссе. Даже на расстоянии присутствие Броссе заполняет собою наиболее светлые минуты Димитрия, который признается: «...не знаю, когда и как сумею отплатить за все то, чем я Вам обязан».

В письмах Димитрий Мегвинетхуцесишвили подробно описывает свои поездки, предваряя тем научные отчеты о них и, в отличие от последних, больше останавливаясь на житейских подробностях, на встреченных трудностях, капризах погоды, характере и нравах людей. Все это позволяет Мари Броссе и себя представить участником этих поездок.

Окончание следует





КРИТИКА

И

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

СОРОКАЛЕТНЕЙ давности война существует и действует в сегодняшней памяти, может быть, больше всего как состояние души и духа. Бесценная конкретность даже невыявленных, невысказанных подробностей становится рельефней: однажды врубившись в память, они если и выветриваются, то лишь едва заметно, становясь постепенно плотью души, оседая в ее основы. И тут они начинают новую жизнь, вдруг обнаруживая личное бессмертие, когда трезво и деловито включаются исподволь, но тотально в поток сегодняшней жизни, в ее заботы, в ее ощущения и энгажи. Вспомним строки из книги, написанной тридцать пять лет назад и ставшей классикой нашей литературы о войне, — из «Звезды» Эм. Казакевича. «Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвизывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от

Инна БОРИСОВА

НЕБО
НАД
ГОЛОВОЙ

всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, партбилет — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем.

Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигнала товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу.

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц всего двое: человек и смерть».

Михаил Лохвицкий служил не в разведке, а в батальоне морской пехоты, назначением которого были десантные операции. «Через батальон прошло 7.500 моряков, а когда в 1965 году мы — бывшие десантники — встретились, нас оказалось 82 человека». Смертельное и вольное напряжение человека, оставшегося наедине с пустыней пространства и ставшего «духом этих пространств», для героев М. Лохвицкого состояние привычное, едва ли не домашнее.

А между тем о войне он пишет не часто и почти никогда напрямую. Обычно война проходит в его вещах как воспоминание — это начало, с которым текущая жизнь соотносит себя, себя объясняет. Риск, опасность, кровавое крошево боя не поминаются всуе, а скорее дают о себе знать как о пределе бытия. Состояние героев Лохвицкого, которое сами они едва ли осознают, это состояние десантников, высадившихся на берег, привязавшихся к точке, — будут ли они дальше развивать наступление или нырнут обратно в крошечную морскую тьму? Разной энергией жизни, энергией наступательной, энергией осуществления самих себя они наделены, но почти в каждом произведении М. Лохвицкого — иногда становясь откровенной и разработанной фабулой, иногда мгновенной вспышкой — происходит этот выброс из равновесия, происходит эта кратковременная или длительная высадка на берег — на чужой берег, или, напротив, на свой, который надо отвоевать или, по крайней мере, присутствовать там. И в конце концов война совсем уже может уйти из сюжета и даже из биографии героя, но ощущение разделенности пространства на твердь и небо, на море и сушу сохраняется как ощущение успешно или безуспешно осуществляемой боевой

операции, боевого задания, выполняемого по внутреннему импульсу или по приказу судьбы.

Наплывы состояний энергии, уходящей в отрешенность, — высокие минуты в жизни героев М. Лохвицкого и, может быть, лучшие страницы его рассказов. Смутность и просветленность этих состояний он умеет угадывать, в хаосе ассоциаций нащупывая орнамент.

Рассказ «Вода» начинается с сюжетной ситуации, одинаково литературно выглядящей и в литературе, и в жизни. Эта литературность писателем как бы акцентирована: две молодые пары туристов болтают с деревенским дедом. Молодые люди из Обвинска объездили всю страну и могут показать деду атомную станцию, Старик не бывал нигде и даже не воевал. Лихо и весело вспоминает он, как в революцию громил помещичий дом здешнего барина, изменного князя, дед которого еще сто лет назад был сослан в Сибирь за то, что пошел против царя. А сейчас — стариковская немощь, вскоре после отъезда туристов вдруг овладевшая им. Морок уплывающего сознания, которое не в состоянии постичь прожитого, ни содержания, ни пустот его, да и не пытается постичь, а лишь возделает непрожитого, неиспитого, неиспытанного, передан писателем как явь, может быть более реальная, чем жизнь четырех молодых туристов, плотно укомплектованная впечатлениями, толково запланированными и действительно осуществленными. Пот, заливающий глаза, вода, «черно и прохладно» стоявшая в колоде, который дед вырыл своими руками, но который больше пяти-шести ведер за ночь так и не давал, потому что, как и другие мужики, он не дорыл до водоносного слоя, — эти знакомые воды выносят воображение деда к той неизведанной морской шари, которую сулили ему туристы и которую — дед уверен теперь — он непременно увидит: пусть дочь и зять не пожалуют на это денег, собранных на кровати и шифоньер. Море чудится ему с красноватыми волнами и гудящим, «как гудят под ветром деревья в лесу».

Для бухгалтера Сухоедова («Охота на тигра») охота на тигра то же самое, что для деда море. Метельная зима ломает привычные маршруты, и мытарства Сухоедова на автобусной станции, на аэродроме, на вокзале, на обочине шоссе, где он тщетно ловит попутку, и, наконец, в чистом поле, по которому, утопая в снегу, он ведет своих случайных попутчиков,

Инна Борисова. Небо над головой.

чтобы преодолеть злосчастные сорок километров до Тулы, эти мытарства наполняют его жизнь энергией приключений. Быть может не меньшей, чем исполнена жизнь того охотника на безухого тигра, книга о доблестных приключениях которого постоянно покомится в бухгалтерском портфеле рядом с квартальным отчетом.

Есть в этом рассказе жесткое ощущение реальности воображаемой сухоедовской жизни, реальности неосуществленной сухоедовской биографии. Она, эта будто бы вымышленная реальность, пронизывает казалось бы непреодолимо прозаический бухгалтерский быт, все более напрягаясь и готова себя к осуществлению.

Уловить невыявленное и убегающее от выявления, уловить внезапность и непостижимую случайность разбегающихся корней и выскакивающих ростков — это охотничье чувство владеет писателем, подчиняя его себе до такой степени, что порой действительно начинает казаться, что «охотником был тигр, а я всего лишь добычей». Речь здесь идет не о поисках своего призвания, хотя в послужном списке Лохвицкого, как и во многих писательских биографиях, мы находим пестроту сменных занятий и склонностей: от многих профессий он ушел как от соблазна, как от истины, недостаточной и потому ложной. Он не стал живописцем, хотя «был прикреплен как одаренный мальчик к профессору художественной академии». Не стал фехтовальщиком, хотя «был чемпионом Грузии среди юношей». Несмотря на страсть к морю, не стал моряком, хотя провозвевал морским десантником.

И не о поисках своей темы на уже обретенном писательском пути идет речь. Речь тут о слухе, о способности угадывать шорохи прошлого, угадывать звучания заложенных в человеке невыявленных возможностей, то ли унаследованных от далеких и столь же невыявленных кровных и духовных предков его, то ли доставшихся ему по напризу судьбы, вовсе уже бесконтрольному.

Очерк «Волшебник» воссоздает портрет реального человека, селекционера Георгия Михайловича Тантакишвили, окончившего еще до революции Петровскую академию, слушавшего лекции Тимирязева, а в наше время хотевшего возродить древнее, почти забытое террасное садоводство. Этому человеку, чудодою-садоводу и чудодою-лекарю, автор задает характерный для себя вопрос: «Где-то я вычитал, будто бы гибриды с годами теряют приобретенные качества и возвращаются к исходным формам. Я спросил об этом у Геор-

гия Михайловича. Он в свою очередь спросил, не помню ли я, какими вызревают груши и яблоки в садах покинутых когда-то крестьянами деревень. «Дичают, верно ведь? Дичают, потому что лишены ухода. Новые гибриды тоже нуждаются в постоянном присмотре, как и те, которые были самой природой выведены когда-то давно. Не будет ухода, и они сперва распадутся на маточные сорта, а потом и вовсе одичают, иначе говоря, вернуться в свое отдаленное прошлое. — Подумав, он прибавил: — Если лишить человека нормальных условий, и он одичает, не правда ли?».

«Исходные формы» и «маточные сорта» — скольжение их свойств и примет в плоти нынешней жизни и возможность, укорененность этой нынешней плоти в формах тогдашних — эта манящая материя доминирует воображение писателя даже тогда, когда он, может быть, и не думает, что в эту материю вглядывается, дает импульс его сюжетам.

Сюжет его собственного творчества тоже кажется движимым этим импульсом.

Когда-то Сергей-Цесский, первым заметивший литературное дарование молодого Лохвицкого, писал, что у него «некое мезанумочное положение: Вы пишете на русском языке из грузинской жизни», и призывал молодого писателя следовать его «дубль-тезке» Лермонтову, который «тоже писал по-русски на грузинские темы («Мцыри», «Демон»), но содержание его поэм «общечеловеческое». Старый писатель призывал молодого искать себя «в этой именно сокровищнице общечеловеческого духа».

Лохвицкий еще задолго до того, как обратился к истории, искал себя (а далеко не великий поиск осознает свою направленность) в этой двумерности всякого человеческого бытия. И дело тут, как выяснится много позже, не столько в том, что он пишет по-русски на грузинские темы или что он — черкес, пишущий о своем народе на русском языке, а в его стремлении состыковать, совместить историческую вертикаль в природе человека с горизонталью его нынешнего, текущего существования.

«Время есть созревшая мысль», — цитирует он Шелгунова, приступая в последней своей вещи к изложению мнения Алеши Джапаридзе. «Время движется вперед в единстве с нами», — сказано много раньше в романе «Неизвестный». Там же говорится об арбузе, что это «красная затвер-

Инна Борисова. Небо над головой.

девшая влага», и становится ясно, что живописца в себе он не отверг совсем, а историк в нем созревает и ищет образа. Наконец, шестилетний Юрка из рассказа «Страх и ветер», позже дописанного и переименованного в рассказ «Средь бела дня» (а рассказ этот по реалиям автобиографичен), вспоминает, как он полз на спине по хлипкой доске, перекинутой через железные балки, и как внизу виднелись кирпичи, камни, горбыли с ржавыми гвоздями, а потом, отплакавшись, вспоминает другое — как ветер поддерживал его и как, спустившись по столбу, он встал на «обрызганную известкой землю».

Поддержкой ветра пользуются многие герои М. Лохвицкого.

Герой романа «Неизвестный» вследствие контузии потерял память. Все прошлое, включая собственное имя и звание, забыто. Он неизвестен не только для окружающих, но и для самого себя. Восстанавливая обстоятельства своей прошлой жизни, герой прежде всего реконструирует свое «я». Он воспринимает прошлое как духовную собственность, возвращая которую он возвращается к себе.

Рассказы М. Лохвицкого, написаны ли они до этого романа или после него, почти всегда выражают напряжение самопознания, напряжение разведки, направленной на самого себя, хотя герой по нраву и сути своей может казаться далеким от подобных рефлексий. Неизвестный поставлен в условия, когда самопознание становится условием физической жизни, условием самосопределения в ней. И тут выясняется, что восстановление простейших параметров биографии оказывается способом проникнуть в основы личности, доселе остававшиеся Неизвестному неизвестными, даже в той еще жизни, когда память не была утрачена. Выясняется, что личность продолжает жить по законам своего существа независимо от того, есть ли у нее имя, помнит ли она его и другие факты из прожитой биографии.

Оказавшись в положении человека, которому предстоит восстановить простейшие, первоначальные сведения о себе, Неизвестный, невзирая на всю мучительность этой работы, а, может быть, благодаря именно ей, понимает свою несводимость к параметрам, вытягиваемым из забвения. Каждое из добытых сведений драгоценно и недостаточно. Не оттого недостаточно, что нужно восстанавливать и соседние звенья, а оттого, что он уже чувствует или, скорее, предчувствует глубину, на поверхности которой колыхается эта сеть постигаемо-

связанных фактов. А под ними что? Он не думает еще, не исследует, он только спрашивает Белоусова, хирурга, оперировавшего его, спрашивает наивно, с детской потребностью в ясности и с детским же страхом, что само собой очевидный вопрос не будет снят. Ведь по возрасту он еще мальчик.

— Я ведь есть, вот, стою перед вами, и оттого, что сыщется мое прежнее место, ничего не изменится, я останусь таким же. Не зря ли мы с вами мучаемся, ищем ячейку, из которой я выпал? Разве оттого, что у меня нет имени и адреса, я перестаю быть человеком?

— Ну, знаешь...

— Жизнь ведь не таблица Менделеева и люди не минералы.

— Сам-то ты для чего стремишься попасть на свое место в таблице?

— Не знаю...»

Спустя тридцать страниц он скажет медсестре Элизе, любившей его: «А я знаю теперь, почему я должен вспомнить. Не зная себя — я одинок. Я ищу не своего места в таблице, в системе, а себя самого — для того, чтобы быть вместе со всеми». И опять в его признании звучит мальчишеская жажда ясности и язык его времени и поколения.

Хирург Белоусов, у которого на фронте погиб единственный сын, говорит ему: «У вас, Неизвестный, обычная биография, такая же, как у тысяч других, которые родились, чтобы стать солдатами».

Лохвицкий хорошо чувствует язык и уровень мышления своего героя и его ровесников. Он твердо держит дистанцию — временную, пространственную и, что особенно важно, нравственную между собой, автором, и своим героем, что особенно необходимо в повествовании от первого лица, изобилующем реалиями авторской биографии.

Роман не случайно заканчивается встречей Неизвестного с бывшим соседом по госпитальной палате слепым Егором Кузьмичом Русаковым, к которому Неизвестный приезжает по доброй воле, отыскав его в глухой, полуголодной послевоенной деревеньке. Русаков с его «потяг-а-вемся» — первым ободрением, которое услышал Неизвестный, когда очнулся на госпитальной койке после контузии, — возникает в нынешней уже яви Неизвестного тем же наплывом, с каким возникли в его воображении ребята из полуэкипажа с их маетой

Инна Борисова. Небо над головой.

или школьные сверстники Жора и Гиви с исчезнувшими их отцами. Но неожиданность этого наплыва в пространстве романа столь же естественна и непронзвольна, как непронзвольны картины прошлого, которые восстанавливает память Неизвестного, и последовательность этого восстановления, только выглядящая хаотичной. Не одна только память, реконструирующая прошлое, а сознание, безотчетно для себя самого наливающееся зрелостью, вызывают из пространства возможностей единственно ему сейчас необходимый образ пожилого крестьянина, внутреннее зрение которого слепота лишь обострила. В нынешней яви Неизвестного, когда сознание его перестало двоиться и прошлое состыковалось, наконец, с настоящим, Русаков объясняет Неизвестному, что ему делать дальше с собой.

Неизвестный рассказывает Русакову про Бесфамильного, тоже ослепшего вследствие контузии (он сменил Русакова на соседней койке). Но Бесфамильному врачи зрение вернули. Он же, направляясь домой после выписки, «с поезда — не то бросился, не то случайно свалился». Выслушав всю историю Бесфамильного, Русаков спокойно утверждает: «Сам бросился» и добавляет: «Вспомнил я вас теперь», а полстранницы спустя он, навидавшийся всякого, ставит диагноз, простой и точный: «Мало думаете» и напутствует Неизвестного: «Если все люди думать станут, все сообща... Счастливо добьетесь».

Два героя — Неизвестный и Бесфамильный — названы почти тождественно. При знакомстве Бесфамильный удивляется этому: «Чудно! Мы с тобой, как два сапога из разного материала. Фамилии у них непохожи, а нутро у них одно».

На фоне беспомощности Неизвестного яростный и сочный пунктир воспоминаний Бесфамильного о злоключениях своих и своей семьи выглядит такой же аномалией, как и потеря памяти у Неизвестного. А когда Бесфамильный сообщает Неизвестному, что он везет чемодан немецких иголок на миллион рублей и теперь наконец-то станет богат, это кажется и вовсе уже бредом. Но Неизвестный с его максимализмом все принимает за чистую монету и упорно требует разоблачения Бесфамильного, в котором для Неизвестного воплощена ненавистная корысть и жажда наживы. « — Сообщите прокурору, следователю, начальнику госпиталя, в милицию — кому хотите про иголки. Если вы этого не сделаете, я обращусь к капитану Иванову.

— Хорошо, — холодно ответил Белоусов».

Неизвестный, не познавший ничего, и Бесфамильный, не прощающий ничего, это уже сегодняшняя биография героя, и то, как она складывается, определяет сюжет и последовательность воспоминаний, всплывающих в памяти Неизвестного. Он не в состоянии осмыслить своей вины перед Бесфамильным, которого ригористичный пафос Неизвестного толкнул под колеса поезда, даже если Бесфамильный погиб не из-за отнятых у него трофейных иголок, а, в конечном счете, из-за невозможности жить под той тяжестью знания, которая в нем накопилась. Его убийством не испугаешь. Столкновение с Неизвестным подтверждало для него его правоту.

А для Неизвестного?

«...Начинаю понимать, что произошла ошибка, и за ней потянулась цепочка других ошибок — нелепых и несправедливых». Но это он понял по другому поводу, однако в ситуации, аналогичной истории с Бесфамильным, когда Неизвестный, вместе с товарищами, едучи в поезде, с той же беснорыстной жадной доброй, ввязывается преследовать, как ему кажется, мешочника и спекулянта, а мешочник оказывается рабочим с мелкого заводика, выменявшим для своих мальцов одежду на сало и сахар.

Состояние неумолимой полемики с Бесфамильным после гибели Бесфамильного не исчезает, а всасывается в грунт сознания Неизвестного. Свою вину он не воспринимает пока еще как вину, он не испытывает терзаний совести, потому что слишком уверен в своей правоте, но в глубине его сознания начинают происходить сдвиги, слишком основательные, чтобы торопливо выразить себя в острой остротности переживания, тем более мучительности его. Эти муки сознания не столько переживаются остро и горько, сколько совершаются — глухо, упорно и неконтролируемо.

Бесфамильный в некотором роде фигура узловая, потому что экстремальностью своих суждений, с которой люто воюет Неизвестный и мягко полемизирует Белоусов, стремясь спасти Бесфамильного от Неизвестного и Неизвестного от Неизвестного, незаметно определяет то русло, по которому потекут воспоминания Неизвестного. Если Неизвестный «выпал из таблицы» вследствие потери памяти, то Бесфамильный всю свою жизнь трактует как выпадение из таблицы. Его память заостренно ориентирована на это. Всеми силами вытесняя Бесфамильного из своей жизни и из жизни вообще, Неизвест-

ный в собственных воспоминаниях все упорнее будет обращаться к ситуациям, когда не срабатывает косность взвешивающихся в нас представлений, часто оказывающихся нравственно непродуктивными, даже опасными и для близких, и для нас самих.

Потому-то ему и удастся сравнительно быстро восстановить забытое, что нынешние переживания и страсти выхватывают из памяти прошлые. Нынешняя ненависть заставляет вспомнить прошлую ненависть, нынешние заблуждения — прошлые заблуждения.

Но это не значит, что все идет по замкнутому кругу, однозначно повторяясь в дублях.

Свои состояния Неизвестный диагностирует в понятиях и лексике своего времени и возраста. Однако то, что в нем и с ним совершается, гораздо богаче того языка, которым он это выражает. Дистанция между героем и автором меньше всего соблюдается в языке. Роман изобилует лексическими, стилистическими, интонационными клише, характерными для описываемого времени. В них как бы замерла, отлилась инерция того мышления, ломке которого роман по существу и посвящен и которую он выражает и своими достоинствами, и своими недостатками. Но и по этому клише бегут уже трещины и проступает наружу живое поэтическое слово.

«Когда я полз за сумкой и вокруг от пуль взметывались брызги снежной пыли, я вдруг ощутил тепло земли и стал подобен дереву, на котором должны лопнуть почки». Кажется, что начинается стихотворение в прозе. Но уже в следующей фразе засквозила литературность, слишком умозрительная для этого юноши: «Новые связи начали протягиваться от меня к миру, и сквозь годы ко мне приблизился мальчик». И слишком любующаяся собой в духе более поздних литературных влияний: «Он спросил: неужели ты забыл? Она говорит на чужом языке, и она не узнала тебя, потому что ты пришел в одежде солдата и с оружием в руках». А в последней фразе проступает уже лик участника матросской самостоятельности: «Но это она, та, которую ты просил — жди меня, верь, и мы выведем корабль в открытое море...»

Кажется, что автор вместе с героем чувствует переходность своего состояния, не межумочность, а освобождение от инерции. Иначе не появились бы в романе слова: «Ноги тянутся к привычному ритму. Но дорога уже преодолена, и нужно время, чтобы перевести дыхание».

Нерв романа, его структура — в виражах сопоставлений и ассоциаций. Менее свободный в языке, в психологической пластике, автор раскован и свободно ориентируется в наплывах видений, воспоминаний... Может быть, просто от недисциплинированности, от неумения, нежелания организовывать материал? — вправе спросить мы. Но если сосредоточиться и, не отдаваясь этому минимому хаосу, проследить моменты возникновения этих наплывов, их параллели, отталкивания и совмещения, то убеждаешься быстро, как не случайно вызывают они друг друга к жизни и как логика их вычленений из забвения Неизвестного естественна и не надуманна. У этих ассоциаций свои траектории, подчиненные импульсу этой именно личности.

После разговора с Белоусовым о том, что жизнь — не таблица Менделеева и что человек не сводим к месту в таблице, в памяти Неизвестного возникает история, когда двести пятьдесят человек из его полужизняка вызывают для того как раз, чтобы уточнить их место в таблице. Только проплыло это воспоминание — появляется заплаканная Зина и сообщает о гибели Бесфамильного, выпавшего из поезда, как из ячейки. Неизвестный, естественно, тут же вспоминает, как преследовал он Бесфамильного и, пытаясь отмахнуться от самого себя: «Ах, не он же в конце концов заставил Бесфамильного прыгнуть...», от этой жуткой мысли, он малодушно притягивает к себе Зину, которую все время отталкивал.

Прошлое не смыкается с настоящим, они друг в друга вшиваются.

Герой освобождается от одних страданий, чтобы profitieren другие, и расширяющаяся воронка восприятия Неизвестного и есть движение его натуры. Ассоциативность повествования не формальный прием: чтобы совладать с пустотой, в которой Неизвестный очнулся, он должен отдаться ее произволу, выиснить, из каких первоначальных элементов он сам состоит. Еще одна фраза характеризует эту особенность Неизвестного и особенность композиционного строя романа. Вспоминала венгерку Илонку, которую полюбил, Неизвестный говорит: «Я искал в глазах Илонки разгадку, ответ на непонятное. Но она сопротивлялась моим попыткам проникнуть в ее мир. Оставалось одно — плыть по течению, пока я не пойму». «Вещи наполняются содержанием, которого

Инна Борисова. Небо над головой.

не было раньше. — удивленно констатирует он чуть дальше, уже проплыв какое-то расстояние. — ...Я лишен желания брать и смиренно приму все, что выпадет на мою долю». Течение несет его и несет.

Илонка достается ему как трофей и готова уступить себя в качестве трофея. И реальность требует, чтобы он относился к ней как к трофею. Лейтенант, заместитель командира отряда, наставляет его: «С кем ты связался, старшина? Я тебе по-хорошему скажу — брось ты это дело, переспал и ладно. Ну, захотел, найди другую, на час, на ночь. Я ведь понимаю, сам не монах. Но все к одной и одной — нехорошо, друг, тут серьезным пахнет».

Однако от общедоступных возможностей он отказывается. Илонка «сопротивлялась попыткам проникнуть в ее внутренний мир», но это были с его стороны попытки проникнуть в свой собственный мир, может быть не менее напряженные и важные, чем те, когда он, потеряв зрение и память, принужден будет вспоминать свое прошлое. Слагая с себя сан победителя, отказываясь от прав победителя, он неожиданно получал взамен возможность познакомиться с ней и с собой. Это был момент свободы, добытой путем отказа от собственных преимуществ и прав.

«И я понял, что любовь не признает насилия и страха, не подчиняется доводам рассудка, она не спрашивает твоего согласия, проникает в самую твою сердцевину и зачинает в ней вечную завязь».

Снова сквозит сентиментальную интонацию пробивается рокотание высоких порывов, уже созревающих, уже неизбежных.

Воспоминания об Илонке протекают в тесной связи с воспоминаниями о доме, о сложных взаимоотношениях родителей, о школьных друзьях, о десантной операции, когда в напутствие им могли сказать только одно: «Если погибнете — отомщу», о матросском самосуде над ворами, когда корабельный экипаж получил право свободной расправы и пресловутая правота обернулась зверством, освященным, правда, старинной морской традицией.

Они объединены одним, эти ускоренно движущиеся к финалу разновременные воспоминания. Перед Неизвестным, которому скоро уже выписываться, скоро остаться наедине с вольным выбором человека, вылечившегося, зрячего и ни с кем не связанного, один за другим проносятся варианты личной свободы. Он вспоминает Гиви, талантливое мальчишка,

ставшего слесарем. «Главное в жизни, — говорит Гиви, работать, быть хорошим товарищем, не лезть в шишки и в свободное время читать хорошие книги.

— И все?

— Я тебе своего не навязываю. Я так, ты иначе...»

И тут же как ответ перед новым вопросом, перед новым вариантом — разговор с матерью, вернувшейся в дом после захватывающего романа с человеком недюжинного размаха и азарта. «Он одержимый человек. Я долго была как во сне. Одна стройка, другая, переезды, новые места и новые впечатления. Я сканала на коне и стреляла из ружья. Все было бурно, остро».

Бессильной чувствует себя мать перед безропотной Ниной, молодой женщиной, заменившей ее в доме и готовой снова исчезнуть. «О-о, — говорит мать своей подруге о Нине. — Она теперь женщина больше, чем ты и я. Она ведь из деревни и вся, как вода. Ударь ножом — разойдется и сольется снова. Но если на воду упасть с высоты, можно разбиться».

У свободы они иждивенцы: Гиви, обездоленный, осиротевший, достойно и робко выкраивает себе независимость от обстоятельств, мать, молодая и привлекательная, потребляет свободу лихо и безоглядно.

Ассоциации расслаиваются, их взаимные притяжения недолги, хотя и неизбежны. Появление Бесфамильного в этих ассоциациях ненавязчиво, почти незаметно.

Но к Русакову в финале Неизвестный придет именно с Бесфамильным — еще не понимая того, но уже превратив свой рассказ в исповедь.

Чем ближе к финалу, тем туже спираль разномастных ассоциаций, тем очевидней та сила, которая их сближает. Сила эта — ощущение вины. Чем больше он виноват и обязан, тем больше свободен, потому что тем меньше замкнут в себе. Даже воспоминание о Нуриеве, которого он спас от разъяренных матросов, заканчивается тем, как Нуриев прикрыл его от немецкой пули. Воспоминание о собственной смелости, когда он в одиночку, безоружный взшел на румынский мостик, не желавший капитулировать, завершается немцем-инструктором, путившим себе пулю в лоб, а ведь он целился в Неизвестного. Даже Белоусов с его утонченным нравственным чувством не понимает, почему Неизвестному понадобилось хоронить немца с почестями: немец вел себя в рамках солдатской эти-

Инна Борисова. Небо над головой.

ки, и только. Но Незвестный ведет свой счет. Он ищет тех, кто выше, и в этом тоже его движение к свободе.

Роман «Незвестный» — это исследование того, как творится духовная биография, духовная история. В клубящихся ассоциациях, в их свивающихся траекториях обнаруживает себя сложное взаимодействие и непредсказуемые взаимовлияния прошлого, настоящего, а равно и будущего. Их расшифровка, трезвая, кропотливая, но вместе с тем вдохновенная, много разъясняет сознанию о самом себе, тем более, что сознание это оглушено сначала незрячестью, потом беспмятством, а когда физическое зрение и память на материальное восстанавливаются, это сознание изумленно обнаруживает, что оно находится лишь в самом начале своего пробуждения.

Есть в романе небольшой вставной эпизод, сюжетно обособленный, но очень важный для понимания авторского метода, нацеленного на рассекречивание слепоты, под кровлей которой зреет дух и поступок. Выписавшись из госпиталя, Незвестный садится в поезд и с удивлением замечает, как шумно в этом послевоенном вагоне: все не говорят, а кричат, не смеются, а хохочут, словно в войну надо было говорить шепотом, а победа велела всем радоваться и кричать.

«Напротив меня сидят солдат и женщина с испуганными глазами. Солдат спрашивает:

— Значит, под Тулой живешь?

— Под Тулой.

— И мать-отца потеряла?

— Потеряла.

— И муж погиб?

— Погиб.

— Беда.

Солдат умолкает. Она рассматривает шрамы на моем лице, переводит взгляд на соседа и спрашивает:

— У тебя, говоришь, никого нет?

— Нет.

— И куда же ты едешь?

— Куда глаза глядят. Где-нибудь устроюсь.

Она качает головой.

Немного погодя задает вопрос он:

— Значит, под Тулой живешь?

— Под Тулой.

— И мать-отца потеряла?

— Потеряла.

Они не могут вырваться из клетки одних и тех же слов. Но он спрашивает все увереннее и увереннее, а она больше не задает вопросов, а лишь покорно отвечает ему.

В Туле солдат и женщина выходят вместе.

— Устроились две жизни, — говорит кто-то».

Следует сказать, что изображение людского потока, в котором временно и случайно сошлось множество людей, кто куда устремленных, для Лохвицкого дело обычное, он чувствует себя здесь пластически наиболее свободно. В многолюдье его герои ориентируются и обнижаются очень быстро, что естественно для людей, избегающих кровли. Но они остерегаются не только крыши над головой, они вообще остерегаются камерности, замкнутости в самих себе. «Кто-то из старых мудрецов заметил: «Я — вещь ненавистная». Так Юрий Давыдов начинает свое послесловие к исторической повести М. Лохвицкого «Громовый гуд». Очень точно один писатель-историк определил природу дарования другого.

Но история для Лохвицкого — нечто большее, чем тема, хотя его романы «Выстрел в Метехи» и «Солнце в крови», написанные в рамках серии «Пламенные революционеры», связаны с конкретными фигурами революционного движения — Ладом Кецовели и Алешей Джапаридзе — и с конкретными историческими событиями. К исторической прозе М. Лохвицкий пришел естественно, более того, неизбежно, поскольку его трактовка человеческой жизни исторична. На невыраженной природе человека он сосредоточен не меньше, чем на природе, выражаемой и доступной всеобщему впечатлению и самооценке. Войны, набеги, революции, образование и распад государственных систем и их конгломератов, движения племен и народов во взаимном их притяжении и отталкивании оставили следы в любом из нас, и то, что «под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история» (Гейне), для М. Лохвицкого является не метафорой, а ежедневной творческой практикой. Другое дело, как увидеть их и как выразить. И вообще, постигаемы ли они в полном объеме и глубине? Исчерпанность здесь, наверное, невозможна, и тем не менее задача эта мало того что увлекательна, она — насущна. И требует сочетания качеств серьезных и свободных от этой серьезности. Она требует, естественно, обширной и строгой эрудиции. Но свободный вымысел, не пугающийся немотивированных озарений, ей нужен не мень-

Ирина Борисова. Небо над головой.

ше. Ей нужен, наконец, и опыт самопознания, опыт рефлексии, пристрастной и трезвой, пронизательной и опять-таки не пугающейся вымысла о самом себе, потому что вымысел тоже несет на себе печать личности и ее предполагаемой или подозреваемой истории. Вымысел и документы, факт и догадка — в творчестве это элементы равноправные, ибо вымысел и догадка — такие же реалии духовной истории, пульсирующего сознания, как факт и документ — реалии истории материальной.

Благородный гнет этой задачи, «страх и ветер» ее лежит на каждой странице повести «Громовый гул».

«Памяти моего деда З. П. Лохвицкого (Аджук-Гирел)» посвящена повесть. Ее эпиграф — «И были люди только единым народом, но разошлись...».

Это повесть о поисках утраченного единения.

Главный герой повести — разжалованный и сосланный в Сибирь армейский офицер и мелкопоместный дворянин Яков Кайсаров — ведет записки, которые продиктованы не столько просветительским стремлением запечатлеть обычаи и нравы горского племени шапсугов, самого многочисленного черкесского племени, среди которого довелось Кайсарову жить, сколько острейшей потребностью вырваться из узкословных и карьеристских представлений ретивого царского служани. В послесловии к повести Юрий Давыдов цитирует уже реальный дневник старшего современника Кайсарова, лицейского одноклассника Пушкина Федора Федоровича Матюшкина, тоже участника Кавказского похода, который писал: «Мало изгнать из своей земли рабство, чтобы доставить подданным счастье, безопасность, богатство, но надобно изгнать его из колоний — для блага всего человечества».

Судьба Якова Кайсарова — это классический вариант «кавказского пленника», образа для русской литературы традиционного. Современный писатель, войдя в русло этой традиции, обнаружил ее бессмертность и плодотворность. Постигая характер и судьбу иноязычного племени, Яков Кайсаров с не меньшим духовным напряжением постигает себя, все время исследуя свои возможности. Это исследование ведется с придирчивостью, причем холодный анализ возможных вариантов сочетается со страстной и трезвой взыскательностью к себе. Он не боится риска, когда соглашается на кавказскую дуэль с поручиком Поповым-Азотовым, человеком нрава скептического и независимого, а дуэль эта заключалась в том, что вызвавшие друг друга офицеры, когда начинался обстрел

со стороны горцев, вставали во весь рост и шли рядом навстречу пулям, отдаваясь на волю судьбы. Он не боится отказываться от наград и почета, когда вновь оказывается у своих. Но вся эта смелость питаема спасительным страхом отступить от собственной совести. Тут он не отваживается рискнуть, ибо знает, что мучения совести для него страшнее, чем даже смерть.

«Не знаю почему, но все в жизни рождается и обновляется через смерть», — говорит Аджук. Смертельный риск выступает в повести как высшая концентрация жизни, как способ, к которому жизнь прибегает, чтобы спасти свои собственные основы, истоки своего продолжения.

Может быть, не случайно шапсугов как народ Кайсаров видит впервые, когда они ложатся на землю в ожидании прихода смерти, ибо ни в Турцию они не хотят переселяться (такая возможность им предоставлена), ни уходить со своей земли, откуда их изгоняют. Певец Озермес просил их: «Встаньте, пойдем туда, где нет войны, а они не верили, отвечали: жизни больше нет, смерть сожрала ее». «А почему они не верят тебе?» — спросил Кайсаров. «Они ничему не верят... у них больше нет дыхания».

Это, однако, не было самоубийством. «...Горцы никогда не стреляются. Они осуждают самоубийство подобно нашей церкви. Убивать себя грех. Дозволяется лишь способствовать приближению смерти, а взять тебя должна она сама». В этом небольшом интервале между «способствовать приближению смерти» и «взять тебя она должна сама» инициатива предоставляется судьбе, ей дается шанс продолжить жизнь, если это положено самой природой вещей, если в этой жизни есть надобность, необходимость, целесообразность, но тот, чьей жизнью судьбе предоставлено распорядиться, уже исчерпал свои аргументы, «у него нет дыхания». Так, осиротевшие сестры Зара и Зайдет хотели, подобно своей матери, броситься на камни. Но Зайдет сказала: «Убивать себя грех, ведь мы еще не родили детей». Тогда Зара предложила сестре на самый край обрыва и заснуть — во сне они не заметят, как упадут. Они, правда, уснули, но не упали. Разбудило их солнце».

Кайсаров начинает с того, что учится у шапсугов отношению к смерти. «В конце концов безразлично — стреляться или идти навстречу неизвестности — в тот выход из ту-

Ирина Борисова. Небо над головой.

ника, о существовании которого я не догадывался». Да и кавказская дуэль, на которую идут два офицера, не формально, а по существу взята у горцев. И то, что у покоряемого народа заимствуется это отношение к смерти, может быть, свидетельствует о начавшемся единении, о реставрации утраченной общности. Именно на краю жизни. Именно под угрозой общего конца. Он — общий, и победы тут быть не может, потому что физическое выживание мерой победы не является.

Есть в этой повести образ, такой же сквозной, как и образ смерти. Это — фельдфебель Кожевников, родом костромской крестьянин, «который нес службу так, как, должно быть, в молодости пахал, сеял. И там, дома, и здесь, повсюду он безропотно, с охотой трудился». Он говорит Кайсарову об абренах с известной долей восхищения: «Абреки вырастают несаянными, пропадают несошными». Но тут же он рассказывает Кайсарову, как сеют и носят горцы: «Башковантый народ, маракают. Они ... подбирают землицу на пологом увале, пологом, чтобы почву водой не сносило. Собирают каменюки, сносят вниз и городят, потом пуцают воду из ручья, ручей наносит песок, гравер великий, и увал выравнивается. Затем ставят сюда скотину на ночь, на год, другой, навоз собирают. Напоследок привозят из долины черную землю, рассыпают и начинают сеять».

Уже зная это, как зная и то, что сады и пашни изгоняемых горцев уничтожались, дабы, как объяснил Кайсарову батальонный Офрейн, «у горцев не возникло желания и возможности вернуться». Кайсаров объясняет, зачем ему нужен был его труд: «Пытаюсь по крупницам собрать волею почву, на которой мог зародиться и произрасти мой безумный поступок».

Вспомним финал рассказа «Волшебник»: «Когда по оголенным, похожим на ребра скелета склонам гор несутся ливневые потоки, смывая последние крохи плодородной земли...», и мы увидим, как не случаен для Лохвицкого образ плодородной почвы, собираемой по крупницам, по крохам.

Духовное созидание, духовное творчество выступает в повести как кропотливый труд, сопряженный с усилием, в равной мере добровольным и неотступно обязательным. Собиранье по крупницам плодородной почвы происходило в жизни Кайсарова дважды: в первый раз, когда он выбрал участь «кавказского пленника», и во второй, когда он стал восстанавливать, как это произошло. Во второй раз это было действие, поступок в не меньшей мере, чем в первый. Внутрен-

ная работа, начавшаяся там, в горах, здесь, в сибирской тайге, вызвала свое продолжение. Обнаружилось, что эта работа неостановима. Перерывы в ней только кажутся. В перерывах сознание, может быть, созревает наиболее интенсивно. Моменты, когда оно обнаруживает себя в поступках и слове, это моменты результатов, первых, последующих и никогда — окончательных. Кружение повторов в разговоре солдата с тулячкой — это всякий раз новый виток созревания поступка. И Неизвестный упорен, однообразен в своей ненависти к Бесфамильному, но каждая новая ассоциация, в которой всплывает образ владельца трофейных иголок, — это кроха, крупинка плодородной почвы, на которой зародится и произрастет будущее мироощущение Неизвестного. Однообразие чувства, даже долго не выражаемого, таит свою динамику, для которой тавтология — способ набрать энергию.

В исторической повести «Громовый гул» немотствованье взрывается. Не случайно ее главные персонажи — люди, для которых слово — оружие.

Озермес — певец, джегуако, лицо, особенно почитаемое горцами, хранитель преданий и адатов, передававшихся из поколения в поколение, ему единственному было даровано право неприкосновенности и осуждения словом любого человека.


Аджук — «язык народа», что не было, однако, «титлом, званием или должностью, дающими какие-либо преимущества... У шапсугов исключалось преимущество одного человека над другим или одной, пусть большей части народа, над остальной. Единственной силой у них была сила слова».

Сам Кайсаров вступает в повесть прежде всего как автор записок.

«Решение залить свою душу на бумаге зрело во мне, как я теперь догадываюсь, постепенно и порождено было тайными муками совести, той постоянной болью, которая иссушила меня... Имею в виду не только свою собственную совесть, а и ту, всеобщую, частица которой есть и в вас, и во мне, в каждом человеке. В многострадальном народе нашем она не выражена осознанно, она еще дремлет и пробивается в бытии лишь в уродливой форме пьянства».

Эта частица всеобщей совести толкает Кайсарова к перу, опять призывая его к действию, к поступку. Он не чувст-

Инна Борисова. Небо над головой.



вует себя вправе захоронить то, что пережил, «унести в могилу свое знание». Инстинкт жизни действует в нем сейчас как инстинкт сохранения знания. В нем пробуждается джегуако, хранитель преданий и адатов, что «для народа, не приобретшего или по каким-то причинам потерявшего письменность, имело огромное значение». Озермес исчезает, Аджуи гибнет в бою, а Кайсаров берется писать об этом народе и о себе, полагаясь, как в кавказской дуэли, «на снисходительность судьбы, на милость божью», которые дадут ему «сперва все записать, а потом уже в путь-дорогу или, как говорят варнаки, в бега».

Слово выступает в повести Лохвицкого как духовный труд, который сознание и совесть вызывают к жизни, чтобы себя сохранить и продолжить. Гул совести — знак и ориентир пробуждающейся тяги к утраченному единению.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРИСТРАСТНОГО ОЧЕВИДЦА

— ПРАВДУ, только правду, ничего кроме правды — клянется свидетель, дабы заверить нас в своей непредвзятости и объективности. Но кто сказал, что свидетель или очевидец не может быть пристрастным? Определенность позиции, ясно выраженное отношение к виденному и слышанному только помогает четче выявить истину, будь то в жизни или в творчестве.

«Готовя сегодня избранное, я старался сохранить в нетронутом виде давние свои работы, на которых лежит печать времени, прогнозы тех, иногда далеких теперь лет. Менялись художники, что-то уходило в историю, что-то давало новые ростки. Но мне накутся важными именно свидетельства времени...»

Слово сказано — свидетельство времени. Так определил в авторском предуведомлении и двухтомнику избранных своих статей известный советский критик Владимир Огнев сущность своей более чем тридцатилетней работы в литературе. Двухтомник избранного для критика, которому еще нет и шестидесяти, в нашей литературной практике явление не частое — это право надо было заслужить. Автор назвал его «Горизонты поэзии» (издательство «Художественная литература»). И почти одновременно другое центральное издательство — «Советский писатель» — выпустило в свет дневник критика Владимира Огнева, который называется «Свидетельства».

Такое совпадение может быть признано случайным в сложных плановых лабиринтах нашей литературно-издательской практики. Так же, как и то, что книги эти вышли в год знаменательного юбилея — 60-летия образования Союза ССР. Но благодаря этому совпадению мы получили возможность полно и разносторонне судить о многолетней работе критика, его гражданской и творческой позиции, его взглядах на многонациональную советскую литературу, изучению которой он отдал так много лет и сил. Пожалуй, точнее будет говорить не об изучении в академическом смысле, а о живом и повседневном



соучастии в литературном процессе, заинтересованном и активном сотрудничестве в повседневной практике нашей литературы.

Первая книга «Горизонтов поэзии» включает в себя статьи и очерки о советской литературе, вторая — о писателях зарубежных, главным образом писателях стран социалистического содружества, со многими из которых автор находится в давней дружбе, а также работы литературоведческие, стиховедческие.

«Свидетельства», как явствует из подзаголовка книги, представляют собой дневник критика за 1970—1974 годы. Причем, насколько можно судить по непосредственному читательскому впечатлению, это не лукавая попытка «задним числом» дать оценку тогдашним литературным явлениям, когда дистанция во времени легко позволяет продемонстрировать мудрость и прозорливость, а реальные дневниковые записи происходивших событий по горячим следам, именно поэтому порой далекие от взвешенной и отстоявшейся рассудительности, чрезмерно запальчивые, но именно в силу этого чрезвычайно интересные и поучительные.

Первая книга «Горизонтов поэзии» озаглавлена «Советская поэзия — истоки и движение». Сразу же скажу, что и в названии всего двухтомника, и в названии данного тома термин «поэзия» понимается очень широко, в случае необходимости автор свободно оперирует примерами из области драматургии, кинематографии и т. п.

Кажется, в рецензиях на книги своих коллег критики стараются не пользоваться такими аргументами, как «интересность», «читабельность». Но в данном случае было бы несправедливо не сказать, что книгу В. Огнева интересно читать. И как мне кажется, главная причина этого в том, что самому критику было интересно писать: он писал только о тех писателях, кого любит и ценит, не ставя себе целью дать в своей книге полную картину развития советской поэзии вообще, воссоздать всю ее историю. Такая задача вообще может оказаться непосильной для одного человека. Но те, кого избрал в качестве своих «героев» критик, безусловно занимают в этой истории достойное и почетное место. Конечно, можно посетовать, что в книге не найдешь статьи о том или ином поэте и его творчестве, но это пустое сожаление, поскольку критик предлагает не полный курс истории советской поэзии, а свои субъективные суждения о ней. «Этим и интересен», — как сказал Владимир Маяковский.



Именно Маяковский открывает галерею советских поэтов, предложенную В. Огневом. Затем следуют статьи о И. Сельвинском, Н. Заболоцком, В. Луговском, П. Антокольском, А. Твардовском, С. Щипачеве, Л. Мартынове, Я. Смелякове, Н. Ушакове, поэтах, вступивших на литературное поприще на рубеже 50—60-х годов... Это только в первом томе «Горизонтов поэзии». И показательно, что в ряду наиболее близких и интересных для критика поэтов совершенно естественно оказываются мастера литовской и латышской поэзии, Р. Гамзатов и К. Кулшев, Д. Гулна и С. Вургун. М. Джалиль и С. Галини, М. Турсун-заде и целое созвездие замечательных представителей классической и современной грузинской поэзии — Н. Бараташвили, С. Чиковани, Г. Леонидзе, И. Абашидзе, К. Каладзе, Г. Абашидзе, Ш. Нишнанидзе, М. Каливидзе — ряд имен, как видим, также продиктованный личными пристрастиями и интересами автора.

Хочу сразу же отметить одну примечательную особенность литературно-критических работ В. Огнева, которая, на мой взгляд, делает его одним из видных представителей советской литературной критики нового этапа. Явления национальных литератур используются им не для «списочного состава» или «представительства» (сколько мы знаем выступлений, когда автор, упомянув по одному «делегату» от каждой национальной литературы, почитает свой долг по части «многонациональности» выполненным), а воспринимаются в органичном единстве, осмысливаются как проявления единого-многонационального процесса развития нашей литературы с учетом самобытности и неповторимости каждой из этих литератур, каждого художника. Естественно, что для такого подхода к вопросу в качестве неопременного предварительного условия необходимо профессиональное, доскональное знание того, что происходит в этих литературах, что создается на различных языках. И В. Огнев демонстрирует в этом плане поразительную осведомленность, поразительную уже потому, что языковой барьер в данном случае представляется столь трудно преодолимым.

Вот как точно и в то же время со свойственной ему скромностью в оценке своих заслуг формулирует критик свою позицию в подходе к явлениям литературы: «Эти заметки — о единстве процессов советской поэзии, прослеженных на одном из ее географических участков — в республиках Прибалтики. Автор отдает себе отчет в неполноте картины. Это —

ше обзор, а раздумья о сходных чертах развития единого литературного процесса в советской поэзии».

Как часто критики, разбирающиеся в этом процессе гораздо меньше, позволяли себе гораздо большую категоричность в оценках и выводах о том, что происходит «на местах».

Владимир Огнев к этому вопросу относится вполне определенно: «Может быть, ни одна из проблем нашей духовной жизни не требует сегодня такого пристального внимания, как проблема национального и интернационального. И, наверное, тут требуется большая четкость и дифференциация, особая терпимость и такт», — записывает он в своем дневнике в октябре 1971 года и с полным основанием повторяет десятилетие спустя.

Именно такую чуткость, такой такт проявил он, говоря, к примеру, о некоторых попытках «с наскоку» объявить решенной проблему двуязычия, сославшись в подтверждение своей позиции на грузинского поэта С. Чиковани, сказавшего о некоторых поэтах прошлого: «Лишившись соавторства народа-язынотворца, они уподобились оторванному от земли Антею».

Включенные в двухтомник В. Огнева «Грузинские этюды» хорошо известны читателю, они неоднократно перенадавались. Но поставленные в один ряд с интереснейшими записями в дневнике критика, с заметками о творчестве кинорежиссера Г. Данелия, с суждениями о проблемах перевода с грузинского, они воспринимаются по-новому, как бы в контексте общесоюзного литературного и культурного движения, в котором, по оценке русского критика, роль и значение грузинской культуры весьма велики. Надо очень точно и отнюдь не со стороны знать все нюансы развития культуры братского народа, чтобы, к примеру, так сказать о Галактионе Табидзе: «Галактион, по-моему, был для Грузии сразу Блоком и Маяковским. Он удесятренно прожил в двух эпохах сразу».

И надо очень глубоко прочувствовать сущность и особенности грузинской поэтической традиции, чтобы, разглядев в поэзии Н. Заболоцкого новые черты, определить их истоки: «Здесь, в стихах этого цикла, мы впервые встречаемся с неожиданно преломленным русским поэтом грузинским (подчеркнуто мной — Э. Е.) поэтическим ощущением неделимости, цельности мира — цельности восприятия».

Именно таким осмысленным многообразием советской литературы в органическом единстве и интересно творчество Владимира Огнева как критика, посвятившего себя изучению

проблем многонационального содружества наших литератур.

В. Огнев делает дальнейший шаг на пути обобщения и осмысления явлений современной литературы: в его книге представлены и многие писатели зарубежных стран, объединенные единством идейно-творческих позиций и сохраняющие национальную самобытность своих культур. «Только тот, — утверждает автор, — кто ценит святость своего очага, понимает целостность лучших традиций другого народа, развивает «свое» в каждодневной практике строительства справедливейшего общества, дружески обмениваясь плодами общей социалистической культуры».

Статьи и очерки В. Огнева — это живое свидетельство очевидца и участника событий, происходивших в литературе последних десятилетий, можно сказать, на наших глазах. Именно поэтому он не боится и высказать спорное суждение, и опровергнуть чье-то признанное мнение, если оно ему кажется неверным. Естественно, и его высказывания могут порой вызвать желание возразить ему, что-то добавить, что-то уточнить. Собственно говоря, в этом и заключается тот живой отклик на прочитанное, пристрастное отношение к нему, что также составляет привлекательную сторону книг и статей В. Огнева. Высказывал прямо и неприкрыто свою точку зрения, он уважает право возможного оппонента возразить ему, не считает свое мнение непреложной истиной: «С мнения начинается все. С права на него. Не формального, а подкрепленного общественной поддержкой, местом на страницах печати, готовностью каждого уважать право на высказывание иной точки зрения». Мне представляется, что подобная позиция свидетельствует не только об убежденности автора, но и об общей демократизации нашей общественно-литературной жизни.

Завершая разговор о книгах Владимира Огнева, во многом этапных для него и в то же время еще раз характеризующих его как одного из серьезнейших представителей современной советской критики, как большого друга грузинской литературы, хочется привести его слова, сказанные им о коллеге по литературному цеху, и переадресовать их ему же: «Уровень критика складывается не только из точной идейной позиции, органического ощущения своего долга перед культурой, пульса времени, понимания диалектики взаимодействия субъективного и объективного начал. Для того, чтобы привести все эти ценные качества в действие, нужен еще и талант, нужна личность».



Нодар ДУМБАДЗЕ

СЛОВО О НИКО ЛОРДКИПАНИДЗЕ

У МАЛОЧИСЛЕННЫХ или так называемых малых народов — большое сердце. Соответственно и боли и радости их большие — они ведь все принимают близко к сердцу.

В истории развития человечества место и функция малых народов, по-видимому, предопределены природой, поскольку, не одарив их глобальными, сверхъестественными физическими или экономическими возможностями, она наградила иные из них чувством необыкновенного самосохранения, мощным иммунитетом против горя и невзгод — дала им письменность, образный язык, разум, возложив на них по существу совершенно иную миссию — поставлять человечеству духовную пищу.

Мне кажется, к числу именно таких народов принадлежит грузинский народ.

Иначе трудно объяснить, как такой маленький клочок земли оказался способным произвести на свет Парнаоза-просветителя, Ианова Цуртавели, Давида Строителя, Руставели, Гурамишвили, Саба-Сулхана, Вараташвили, Илью, Акакиа, Тогешашвили, Важа Пшавела, Галактиона и других.

Иначе трудно поверить и обосновать хвалу, воздаваемую сегодня Нико Лордкипанидзе.

Мы зачастую боимся употреблять слово «гений». А ведь ничего страшного в нем нет. В словаре оно толкуется следующим образом: «Человек, обладающий высшей степенью творческой одаренности».

Страшно, когда подобное толкование применяют к человеку недостойному, но по отношению к Нико Лордкипанидзе оно настолько естественно и обычно, что порой даже удив-

ляешься, неужели его современники не знали этого, неужели с самого же начала не поняли это?!

Правда, многих его современников не упрекнешь в том, что они не оценили или не признали истинного таланта Нико Лордкипанидзе, его новаторства, совершенного стиля, поразительно лаконичных форм высокохудожественного мышления... И все же остается непонятным не та сдержанная, невозмутимая атмосфера, царившая вокруг него, а место, отведенное ему еще при жизни в литературном процессе Грузии, и хотя бы то, что настроение это по инерции передавалось и нам.

Я знаю, отныне творчество Нико Лордкипанидзе займет достойное место в программах наших школ и высших учебных заведений, поскольку трудно себе представить лучшее средство воспитания ума молодежи, ее художественного мышления и вкуса, духовной чистоты, воспитания в духе патриотизма и гуманистических идей.

Сегодня почти все исследователи в один голос говорят об импрессионизме в творчестве Нико Лордкипанидзе; поэтому вполне естественна параллель, которую проводят между его творчеством и творчеством Давида Какабадзе, но тут следует учесть одно обстоятельство: если Давид Какабадзе взирует на Грузию, на укрытые красочным ярким ковром склоны Кавказских гор, подобно орлу, распростершему крылья на вершине скалы, то Нико Лордкипанидзе ничком лежит на грузинской земле, прикинувшись своим телом к ее многострадальной плоти, прислушиваясь к биению ее упорно мятущегося сердца. Он слышит тяжелое, глубокое, но мощное дыхание родной земли и говорит от ее имени.

Поэтому он — частица земли грузинской, поэтому он — гений.

Может, благодаря именно этому обстоятельству сумел он лучше всех нас приблизить прошлое Грузии к ее настоящему.

Я не собираюсь разбирать творчество Нико Лордкипанидзе, но хочу отметить следующее. У Нико Лордкипанидзе завидная биография, вспомните, какой писатель в Грузии, да и за ее пределами, дважды дрался на дуэли и не за свою честь — за святое имя и достоинство народное.

Как-то среди нас, писателей, зашел разговор о творчестве Нико Лордкипанидзе. Кто-то, не помню точно, кто именно, сказал:

— Нико Лордкипанидзе появился в Грузии.

Да, писатели, подобные Нико Лордкипанидзе, не рождаются, они появляются или являются обычно народу. Так он явился Грузии в 1880 году, затем совсем юным заглянул, подобно спасителю, в храм отца своего и, увидев его полным перекупщиками и торговцами, воскликнул: «Продается Грузия. Продается со своими полями, горами, лесами, виноградниками, пашнями; с прошлым, настоящим и будущим; с языком своим прекрасным, с характером героическим, с гостеприимством хваленным... продается вместе со своим народом — ослепительными девушками, красавцами-парнями, милыми малышками, убеленными сединой стариками; продается Грузия со всеми своими детьми, матерями, отцами, братьями, сестрами, женами, мужьями, родственниками и близкими».

А потом вместе со своими единомышленниками изгнал из храма всех неверных и неверующих, торговцев и перекупщиков, стал в дверях его, где и стоит по сей день, чтобы ни одна живая душа, кроме верующей, работающей, благородной и чистой, не проникла бы в этот храм добродетели.

Это была его бескорыстная служба родному народу.

Никогда ни одним словом не обмолвился Нико Лордкипанидзе о своих заслугах перед Грузией. Только однажды вырвалось, совсем негромко, как если бы он признался самому себе, — я знаю, меня не ждет на «том свете» царство небесное, как и на этом — слава, признание, почет, но мне следует поставить памятник не потому, что я занимался писательской деятельностью и немного участвовал в политической жизни страны, но потому, что пронес свою ношу сквозь грязь и нечистоты, не замарав ни рук, ни ног, и возложил все, что мог, на алтарь отечества.

Мы это хорошо знаем, благодарный грузинский народ ничего не забывает. К счастью для всех нас, у Грузии сегодня такой хозяин, который знает ей цену, не променяет ни на какое золото, не продаст ее.

И пока Грузия существует на карте, Грузия, любовь к которой испепелила сердце Нико Лордкипанидзе, пока будет жив хоть один грузин, имя великого писателя никогда не будет предано забвению.



БЛЕСТЯЩИЙ, КАК КЛИНОК, ТАЛАНТ

Ты сверкаешь, как клинок.
 Ты подвластен лишь солнцу да соловью.
 Позволь мне, подобному борзой,
 Подарить стих тебе, хозяину по натуре¹.

Эти слова принадлежат безвременно ушедшему от нас Паоло Яшвили и посвящены Нико Лордкипанидзе.

Нико Лордкипанидзе пользовался огромным уважением у всех поколений своих современников, с благоговением относившихся к нему. Вышеприведенные строки — выражение именно этого глубочайшего почтения.

Преклонение и уважение вызывали безупречная нравственность писателя, высокий смысл его жизни, честность творчества, которые он, величайший представитель новой грузинской литературы, унаследовал от своих непосредственных предшественников — знаменосцев грузинской классической литературы.

Все творческое наследие Нико Лордкипанидзе несет на себе печать отчуждения от общества, отступления от него, печать разочарованности и непреодолимой грусти. Но это только с первого взгляда. Нико Лордкипанидзе — писатель, проводящий высокую идею античного гуманизма, и потому его творчество так близко и актуально для каждого мыслящего читателя.

Годы жизни Нико Лордкипанидзе совпали с большими социальными катаклизмами. Он ведь был потомком блестящего феодально-аристократического рода. Дед его деда — Бери Лордкипанидзе, владелец Гвиштибской крепости, при дворе Соломона Великого, признанного «вторым Строителем Грузии», был управляющим освобожденного Кутанси.

¹ Здесь и далее перевод подстрочный.

В определенный период прошлого столетия грузинская аристократия — правящие круги и военное сословие так известно, отошла от дел, которыми занималась испокон веков, уступив место военной и гражданской администрации царской России; богатство некогда сильных мира сего было пущено по ветру, они утратили свое привилегированное положение в обществе; реальность куда-то отступила — рушились старые гнезда, прахом шло все то, что составляло многовековую основу в психике народа. В муках рождалось новое, с трудом прокладывая себе путь.

Разрушение старых традиционных гнезд не могло оставить Нико Лордкипанидзе равнодушным, с болью наблюдал он, как история обрекала на гибель тех, кто на протяжении веков, в пору кровавых дождей, вел за собой народ, считая его беды и радости своими. Вот она, тоска по истории, которую так талантливо подметил у Нико Лордкипанидзе Акакий Баградзе, вот исток и предмет неизлечимой его скорби.

Нико Лордкипанидзе — писатель европейского склада и ранга. Он давно был бы признан повсюду, если бы имелись совершенные переводы его произведений, если бы бесконечный трагизм рафинированных его рассказов удалось передать средствами другого языка. Нико Лордкипанидзе еще ждет всеобщее признание.

И еще об одном — о публицистической страстности беллетристических произведений Нико Лордкипанидзе. «Продается Грузия...» Только этот великий человек, как и автор «Счастливого народа» — Илья Чавчавадзе, выстрадавший все беды своей родины, мог быть так чудовищно откровенен.

Мне вспоминается роман выдающегося американского писателя Джона Стейнбека «Гроздь гнева», в котором писатель сказал своему народу, своей любимой Америке неприкрытую правду. Роман вызвал негодование защитников американского образа жизни, мнящих себя большими патриотами, нежели Джон Стейнбек. История высмеяла этих ничтожных лжепатриотов, предав забвению их имена.

Я не зря вспомнил Стейнбека и его обличительный роман. Трагический трепет души Нико Лордкипанидзе, его решительный оклик, который должен был пробудить ото сна находящийся на краю бездны народ, близок душевному трепету любого истинного писателя, принесшего свое сердце на алтарь отечества, и Джона Стейнбека в том числе.

Да пребудет с нами вечно благо, которым одарил нас сгоревший в бескорыстной любви к родине Нико Лордкипанидзе, а высокая традиция патриотизма, принесенная им в грузинскую литературу, пусть вечно сопутствует ей.

Хочу закончить эту небольшую статью словами Паоло Яшвили:

Трудно будет тебе довериться этому миру.
Но ты всегда благодарен,
Пленительным твоя беспечная веселость
И редкий профиль среди нас.

Мака ДЖОХАДЗЕ

БОЛЬ ДУШИ

ТРАДИЦИОННОЕ спокойствие прозы, плавность, степенное, подобно летописи, течение, терпкий аромат картлийских роз, протяжное тихое пение, тоскливое, как аробная песня, мелодичное волнение долгой предзвездной ночи, рассветная стужа, прозрачная меланхолия... И так постоянно необозримые дали грузинской прозы рождают бесконечные ассоциации.

И вдруг все дробится, членится; словно медленно ползущую стаю туч пропахала возникшая вдруг молния. Словно в гармоничную мелодию традиционной оперы ворвался краткий отрывистый речитатив с пламенными междометиями, избыточной импульсивной чувствительностью, нервными, истерическими восклицаниями.

Повествование испестрилось, испещрилось бесконтекстными глаголами. Глаголами, которые играют роль не только предложений, но и дорог, ведущих друг к другу, и мостов, перекинутых через бездны человеческой души. Глаголами, архаичные плечи которых несут такой величайший груз, как жизнь. Оторванные от сюжета, от фабулы, они сами творят роман, биографию, мир.

О глаголе Нико Лордкипанидзе можно говорить как об интересной личности.



Импрессионисты Гуго фон Гофмансталь, Рихард Бер-Гофман, Артур Шницлер, Петер Альтенберг, которым, как говорится, очень обязан Нико Лордкипанидзе, восстали против жизненных драм, отринули творческое «исследование» фактов, явлений и вознамерились художественным взором уловить быстротечность момента.

И как бы скрупулезно, исключительно точно ни удавалось им передать это, как бы ослепительно ни сверкали их прозаические эскизы, миниатюры, повеллы, с каким бы искусством (почти ювелирным) ни создавали они свои овалы, прямоугольники, окружности, от них чаще всего веет холодом драгоценных камней. Они так захвачены мимолетными чувствами и впечатлениями, словно это предметы роскоши. Поэтому они не постигают глубины — скользят по поверхности. Предпочитая подобную легкость, они не имеют ни желанья, ни претензии добраться до сути явления. Главное для них — развлечение словом, игра словом, развернутый, подобно фонтану, финал. Текст как будто звучит синхронно их чувствам и переживаниям. Слово — фон для чувства.

У Нико Лордкипанидзе — совершенно иная картина. Своей отрывистой речью, т. е. «телеграммным стилем души», зашифрованностью, намеками, лексической расчетливостью, доходящей до скупости, лаконичностью он действительно походит на своих австрийских собратьев, но глубоко национальная скорбь, владеющая им, не дает ему возможности жонглировать словами, заботиться об эффектах.

И то, что это так, убеждает нас нестерпимый жар того огня, которым пропитано каждое его слово: «Продается Грузия...

Продают ее все: князь и священник, купец и грабитель, велик и мал, мудрец и глупец, пьяница и трезвенник. Продается везде и всюду: на улице и дома, в театре и суде, училище и тюрьме, фазтоне и поезде, днем и ночью, в жару и холод, ясный день и непогоду. Продается оптом: от Черного до Каспийского моря и от Осетии до Персии. Продается по частям: Кахетия и Имеретия, Картли, Сванетия и Мегрелия, Гурия и Лечхуми, Рача и Джавахетия.

Продается по кускам — кому сколько и как угодно: за наличные и в рассрочку, временно и навсегда, через банк и с нашей помощью.

Так спешите же, покупайте, рвите на куски то, что когда-то называлось Грузией, что сегодня насыщает воронье и повергает в ужас беспомощных своих доброжелателей!».

Скорбь Нико Лордкипанидзе характеризует не свойственный скорби способ выражения — скорость. И что всего труднее

объяснить — эта стилевая стремительность всегда исходит из определенной боли и мысли...



Безмолвно, тихо умирают его маленькие герои, но их жизнь отнюдь не нехитрое однодневное существование бабочки... На первый взгляд равновесие нарушено, поскольку персонажи этих крошечных миниатюр не погибают как цветы, а умирают как личности, полные человеческого достоинства. Эти люди в предсмертные минуты делают открытие — не надо заботиться о теле, если душа обманула тебя. Пределы и масштабы их человеческих возможностей измеряются принятыми в критические моменты решениями. Поэтому для меня самоубийство человека, отнявшего последний кусок хлеба у своих детей, не результат аффекта, а совершенно сознательный, осмысленный, строжайший приговор себе.

Голод — ловушка, поставленная жизнью, коварное испытание. Он не смог устоять против мучительного искушения, но, удовлетворив физическую потребность, словно прозрел, осознал то, что случилось, «встал, пошел к детям...» Нашел их под деревом... спищими... Он прилег рядом. Слезы подступали к горлу. Он сдерживался: хотя бы не разбудить! «Что я наделал, что я наделал!» Словно этот грех был результатом его индивидуальных, личных качеств, а не естественного первобытного инстинкта. Он не смог противостоять темному, иррациональному, инстинктивному. Потому и кончает с собой.

Так мы думаем сегодня...

Сегодня мы стараемся хотя бы немного, хоть чуточку приблизиться, понять, сострадать тем эмоциям, мыслям, настроениям, которые рождает встреча с творчеством Нико Лордкипанидзе. В детстве же я не знала ни имени этого писателя, ни его фамилии... Помню, семи-восьмилетней девочкой я сидела на тахте, которая с трудом умещалась в маленькой комнатушке, и, сама не зная почему, плакала, плакала так, что сердце было готово разорваться от горя. В далеком эфире звучал бархатный трепещущий голос. Радиоволны обвиняли мне шею, казалось, еще немного, и я задохнусь... Серго Закариадзе читал рассказ Нико Лордкипанидзе «Трагедия без героя».



- ДОКУМЕНТЫ
- ПИСЬМА
- ВОСПОМИНАНИЯ



Гурам ШАРАДЗЕ



«МУЗА ДВАДЦАТОГО ВЕКА...»

В ОКТЯБРЕ 1981 года, находясь в Лондоне в научной командировке, я попытался увидеться с проживающей здесь соотечественницей Саломеей Андроникашвили, однако мне это не удалось. Саломея Андроникашвили, к тому времени перешагнувшая через девятистолетний рубеж, была больна, и я не смог поговорить с ней даже по телефону, чтобы сообщить о своем желании повидать ее.

И вот недавно я узнал, что 8 мая 1982 года она умерла в Лондоне в возрасте девятиста четырех лет. Так закончила свои дни вдали от родины одна из самых замечательных наших соотечественниц, которую современники называли «музой двадцатого века»¹.

Саломея Андроникашвили родилась в Тбилиси в 1888 году в семье князя Николоза Андроникашвили.

¹ Васильев Г. Неизвестный портрет. Неделя, 1979, 11 — 17 июня, № 24, с. 21.

В начале 900-х годов она переезжает в Петербург. По сообщению одного из ее современников, опубликованному недавно, «Саломея Андроникова была одной из самых известных светских красавиц той эпохи. Она славилась своим умом, обаятельностью и остроумием». Среди друзей Саломеи Андроникашвили были известные русские поэты — Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева, увенчавшие ее имя в своих стихах, а также русские художники — К. Петров-Водкин, В. Шухаев, К. Сомов, А. Яковлев, З. Серебрякова, запечатлевшие ее прекрасный облик на полотне. Портрет Саломеи Андроникашвили, выполненный К. Петровым-Водкиным, — репродукцию его мы предлагаем вниманию читателя — в настоящее время хранится в Третьяковской галерее. Несколько лет назад его прислала в подарок из Лондона сама Саломея Андроникашвили.

В 1916 году Осип Мандельштам посвятил ей замечательный цикл стихотворений «Соломинка». Вот одно из них:

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, — что может быть печальней, —
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина,
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате, над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыхание,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка, Лигейя, умираешь, —
Я научился вам, блаженные слова.

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.

В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита...

Декабрь торжественный сияет над Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка, быть может Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

Если в этом стихотворении О. Мандельштам сравнивает Саломею Андроникашвили с героинями Эдгара По — Лигейей и Ленор, с бальзаковской Серафитой, а также прибегает к одному из художественных образов В. Хлебникова из его трагической буффонады («Ошибка смерти»), то в другом стихотворении («Мадригал»), написанном в том же году и посвященном нашей соотечественнице, поэт использует фамильное предание о происхождении рода Андроникашвили:

Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в ту ночь
Солнце вырвать из плена,
Помоги мне пышность тлена
Струйной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!²

С 1919 года Саломея Андроникашвили живет в Париже. Как известно, в ноябре 1925 года из Праги в Париж переехала Марина Цветаева с семьей; здесь она провела более десяти лет. Между ними завязалась тесная дружба. В течение определенного времени Саломея Андроникашвили оказывала терпящей нужду поэтессе материальную поддержку. Этот факт отмечен советскими исследователями жизни и творчества Марины Цветаевой. «С. Н. Андроникова была дружна с Мариной Цветаевой и помогала ей в трудные для поэтессы годы на чужбине», — пишет Г. Васильев³.

² Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1973, с. 100, 271—272.

³ Васильев Г. Неизвестный портрет, с. 21.

То же самое утверждает и Анна Саакянц, известный советский исследователь творчества Марины Цветаевой, которая в комментариях к ее двухтомнику отмечает: «Саломея Николаевна Гальперн (урожд. Андроникова) — знакомая Цветаевой, оказывавшая ей в начале 30-х годов материальную поддержку»⁴.

Сохранилось свыше 130 писем Марины Цветаевой к Саломее Андроникашвили. В настоящее время они хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, куда несколько лет назад переслала их прежняя владелица. Фрагменты из этих писем щедро использованы Анной Саакянц в упомянутых комментариях, они проливают свет на некоторые вопросы жизни и творчества Марины Цветаевой. А в 1980 году Г. Огрич-Васильев опубликовал сравнительно полный текст письма Марины Цветаевой к Саломее Андроникашвили от 12 августа 1932 года, которое действительно написано в характерной для Цветаевой экспрессивной манере. Как отмечает исследователь, это скорее стихотворение в прозе, нежели письмо.

Вот отрывок из этого письма: «Дорогая Саломея, видела Вас нынче во сне с такой любовью и такой тоской, с таким безумием любви и тоски, что первая мысль, проснувшись: где же я была все эти годы, раз так могла ее любить (раз, очевидно, так любила) и первое дело, проснувшись — сказать Вам это: и последний сон ночи (снилось под утро) и первую мысль утра...

У меня чувство, что я видела во сне Вашу душу. Вы были в белом, просторном, ниспадавшем, струящемся платье, непрерывно создаваемом Вашим телом: телом Вашей души.

Воспоминание о Вас в этом сне, как о водоросли в воде: ее движения. Вы были тихо качаемы каким-то морем, которое меня с Вами рознило. — Событий никаких, знаю одно, что я Вас любила до такого неступления (безмолвного), хотела к Вам до такого samozабвения, что сейчас совсем опустошена (переполнена).

Куда со всем этим? К Вам, ибо никогда не поверю, что во сне ошибаются, что сон ошибается, что я во сне могу ошибиться... Мой любимый вид общения — сон. Сон — это я на полной свободе, тот воздух, который мне необходим.

⁴ Саакянц А. Комментарии к кн.: Цветаева М. Сочинения. М., 1980, т. 2, с. 504.



чтоб дышать. Моя погода, мое освещение, мой час суток, мое время года, моя широта и долгота. Только в нем, я думаю. Остальное — случайность...

Милая Саломея, письмо не кончается... И даже когда кончится — как нынешний сон и сейчас, гроза, — внутри не кончится — долго. Я все буду ходить и говорить Вам — все то же бесполезное, беспоследственное, беспомощное, божественное слово.

Милая Саломея, лучше не отвечайте. Что на это можно ответить? Ведь это не вопрос — и не просьба — просто лоскут неба любви. Даю Вам его — в ответ на все, целое, которое в том (уже — том!) мне дали мне — Вы».

Марина Цветаева упоминает о Саломее Андроникашвили и в своих известных воспоминаниях об Осипе Мандельштаме — «История одного посвящения», где пишет: «...стихи же «Соломинка» и ряд последующих [принадлежат] Саломее Николаевне Гальперн, рожденной кн. Андрониковой, ныне здравствующей в Париже...»⁵

Узы дружбы связывали Саломею Андроникашвили с Иваном Бунным и Ильей Эренбургом, а Анна Ахматова в стихотворении «Тень», написанном в 1940 году, обессмертила имя своей старой подруги:

Что знает женщина одна о смертном часе?

О. Мандельштам

Всегда нарядней всех, всех розовой и выше,
 Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
 И память хищная передо мной колышет
 Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
 Как спорили тогда — ты ангел или птица!
 Соломинкой тебя назвал поэт.
 Равно на всех сквозь черные ресницы
 Дарьяльских глаз струился нежный свет.
 О тень! Прости меня, но ясная погода,
 Флюгер, бессонница и поздняя сирень
 Тебя — красавицу тринадцатого года —
 И твой безоблачный и равнодушный день
 Напомнили... А мне такого рода
 Воспоминанья не к лицу. О тень!⁶

⁵ Цветаева М. Сочинения. М., 1980, т. 2, с. 186.

⁶ Существует грузинский перевод этого стихотворения, выполненный Н. Гвицпадзе, — см. ж. «Цискари», 1973, № 9.

В 1945 году Саломея Андроникашвили переехала из Парижа в Лондон, где и жила до самой смерти. Весной 1965 года после почти полувековой разлуки она вновь встретилась с Анной Ахматовой, приглашенной в Англию в качестве почетного доктора Оксфордского университета. Сама Анна Ахматова в своем автобиографическом очерке «Коротко о себе» пишет об этом факте так:

«Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями...»⁷

По недавно опубликованному свидетельству одного современника, бывшего очевидцем этой встречи, «перед отъездом С. Н. Андроникова прислала в подарок Анне Андреевне чудесную черную шаль венецианских кружев. Через год с небольшим эта самая шаль была накинута на ее красивые седые волосы, когда она гордая, царственная лежала в гробу».

У Саломеи Андроникашвили был интересный личный архив и коллекция произведений искусства, часть которых (рисунок К. Петрова-Водкина и свыше 130 писем Марины Цветаевой) подарена ею Третьяковской галерее и Центральному государственному архиву литературы и искусства.

А недавно прибывший из Лондона Никита Лобанов-Ростовский согласно завещанию Саломеи Андроникашвили передал через постпредство СССР при Совете Министров СССР в дар Государственному музею искусств Грузии «Портрет С. Андроникашвили» работы Э. Серебряковой. Надо отметить, что большая заслуга в этом принадлежит ныне покойному Папуне Церетели, известному коллекционеру и деятелю грузинской культуры. Кто знает, сколько еще материалов, представляющих интерес для нашей культуры, осталось в ее архиве!

Считаю своим долгом выразить благодарность сотруднице Государственного музея искусств Грузии Ирине Дзудовой, познакомившей меня с материалами, касающимися Саломеи Андроникашвили, которые были опубликованы в зарубежной прессе, а также с каталогом частной коллекции Н. Лобанова-Ростовского, на 165-й странице которого помещена фоторепродукция работы Ладо Гуднашвили парижского периода (1923 г.), оригинал ее хранится в Лондоне.

⁷ Ахматова А. Избранное. М., 1974, с. 8.

Мэри СОФИАНИДИ

АЛМАЗНЫЕ ГОДЫ ГОМЕЛАУРИ

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

В ПРОСТОРНОМ кабинете генерального директора объединения Якуталмаз состоялась моя беседа с Валерием Владимировичем Рудаковым. Биография его тесно связана с тремя городами страны: с Тбилиси, где он родился, с Москвой, где он учился, с Мирным, где он после окончания вуза работает.

М. Софианиди: — Валерий Владимирович, вы многие годы работаете вместе с директором Якутского научно-исследовательского института — Якутским алмазом Г. Л. Гомелаури. Какое влияние оказал он на вас лично как человек и как руководитель?

В. Рудаков: — О Гиви Лазаревиче я не могу не говорить хорошо. И не потому, что представляю тбилисеца в грузинском журнале. Я пристрастен к нему, потому что считаю Гомелаури своим учителем и многим ему обязан... Чему я научился у него? Прежде всего — неравнодушию. Сейчас, когда появилось очень много равнодушных людей, я особенно остро ощущаю, как редки душевные качества Гиви Лаза-

решившего. Мне импонирует широта его знаний, умение находить суть в любом техническом решении. Я научился у него знать степень ответственности руководителя. И я не раз был свидетелем, когда он не боялся превысить власть — там, где это необходимо для пользы дела. Не все, к сожалению, у нас предусмотрено инструкциями, и умение принимать смелые и ответственные управленческие решения — суть его натуры... Фактически весь период становления специалиста и руководителя у меня прошел под непосредственным руководством Гомелаури. Я пришел в Якутинипроалмаз молодым специалистом, проработав до этого пару лет мастером на карьере трубки «Мир». Полученные знания и навыки управленческой работы очень пригодились мне и когда я был заведующим горной лабораторией Якутинипроалмаза, и когда был выдвинут главным инженером сначала рудника «Айхал», а потом объединения Якуталмаз. Кстати, быть главным инженером объединения предложили сначала Гомелаури, имеющему огромный опыт руководящей работы в горной промышленности, и если бы он согласился, то наверняка стал бы сейчас и генеральным директором. Но он предпочел остаться во главе института, ибо не хотел оставить начатое дело, куда вложено столько знаний, страсти, сил... И, наверное, по большому счету он прав, ибо с первых дней стоял у истоков научно-технического прогресса в алмазодобывающей промышленности...

М. Софианиди: — Часто ли Гиви Лазаревич вспоминает Грузию?

В. Рудаков: — Очень часто. Даже иногда на техсовете... Как-то мы обсуждали вопрос о том, что в карьере трубки «Мир» появился сероводород. Гиви Лазаревич, как всегда, эмоционально воскликнул, обращаясь ко мне: «Ты знаешь и помнишь знаменитые серные бани Тбилиси, но какой там здоровый народ, так что сероводород нас не испугает...» Конечно, с сероводородом мы боремся, но, как говорится, и дым отечества нам сладок и приятен... Грузия всегда в сердце и памяти Гиви Лазаревича, но Север ему тоже по душе. Народ здесь такой же гостеприимный и отзывчивый, как в Грузии, а главное — дел здесь неупорот... С 1951 года Г. Л. Гомелаури работает на Севере, приехав сюда после окончания Тбилисского политехнического института. Он начал работать на руднике Эге-Хая, крупном оловодобывающем предприятии Якутии, и вскоре стал его директором. И этот быстрый взлет молодого специалиста свидетельствовал и о

глубине технических знаний, и об умении оперативно решать большие и малые задачи...

М. Софианиди: — Я думаю, это связано и с фронтовым опытом. Семнадцатилетним студентом первого курса Гомелаури ушел добровольцем на Великую Отечественную. И вот военный опыт, помноженный на инженерные знания, помог ему быстро вырасти в руководителя большого масштаба.

В. Рудаков: — Я тоже так думал, но сам Гиви Лазаревич считает, что его боевой опыт невелик, а первые организаторские навыки он получил сначала в восьмой школе г. Тбилиси, где он проучился 10 лет, где был председателем МОПРа, и главным образом когда был секретарем комсомольской организации горного факультета Тбилисского политехнического института. В характере Гиви Лазаревича — сочетание дерзкой отваги, предприимчивости, умение не тушеваться перед трудностями, которые выпадают на долю почти каждого северянина, ибо человек живет здесь в экстремальных условиях. На Севере либо закаляется характер человека, либо он не выдерживает и уезжает. Но тот, кто остается, в полной мере проявляет свои способности...

М. Софианиди: — В Мирный Гиви Лазаревич приехал в начале алмазной эпопеи и стоял у истоков алмазодобывающей промышленности. В чем вы видите главный вклад его как руководителя в развитие новой отрасли цветной металлургии?

В. Рудаков: — Могу высказать и свою точку зрения, так сказать, генерального директора объединения... Гомелаури — один из самых крупных горных инженеров Якутии. Высокая инженерная эрудиция и требовательность помогли ему найти стратегическое направление в деятельности руководимого им института, определить основные задачи развития и технического вооружения алмазодобывающей промышленности. Под его руководством стали внедряться в производство принципиально новые методы и эффективные схемы обогащения кимберлитовых руд. Ученые института ЯкутНИПРОАлмаз стараются быть на уровне передовых достижений мировой науки. Коллективу, в котором работает почти тысяча человек, под силу решение многих технических и научных вопросов. Г. Л. Гомелаури, автор нескольких изобретений, лауреат премии Совета Министров СССР, заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, награжден многими правительственными наградами, орденами и медалями. За достижения в области науки и техники ЯкутНИПРОАлмаз

маз, опередив крупные солидные институты страны, был признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании с вручением ему Красного Знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и представлял цветную металлургию на Выставке достижений народного хозяйства СССР в 1978 году; расположенный в далекой Якутии, институт оказался первым, кто не в традиционных отраслях, а в самых современных областях электроники разработал процесс мирового значения — рентгенолюминесцентный и создал целый класс сепараторов, работающих на крупных алмазах, не имеющих пока аналогов за рубежом.

АНКЕТА

ПРОСМАТРИВАЯ проект плана социального развития коллектива института на текущую пятилетку, Гомелаури вспомнил, что недавно проводилось анкетное обследование. Вызвав секретаря, попросил:

— Пригласите Шлионского с результатами анкетирования.

Евгений Львович Шлионский, главный специалист технико-экономической лаборатории, член Советской социологической ассоциации, принес директору черновые результаты обработки.

Гомелаури бегло, но внимательно просмотрел ответы на вопросы анкеты.

— Любопытно... Руководители научных лабораторий довольно трудовой дисциплиной, а их работники считают ее уровень у себя в подразделении недостаточным... Так-так, будет о чем поговорить на партсобрании института. Я и раньше чувствовал, что у наших «островитян», работающих не в основном корпусе, с дисциплиной не порядок, но таких отличных данных не имел. Теперь у меня есть единомышленники — сами сотрудники... «Почему Вы приехали на Север?» Ответы: за деньгами, за туманом... Так что там главное? Желание жить самостоятельно, отдельно от родных? Что ж, у меня коллектив из очень самостоятельных людей, это хорошо... «Почему остаетесь жить и работать на Севере?» У большинства причина — интересная работа. Это справедливо. И я бы так ответил... Приятно, что людям работа в институте по ду-

Мэри Софраниди. Алмазные годы Гомелаури

ше. Ага, «Почему Вы собираетесь уезжать?». А, это наша потенциальная текучесть, Евгений Львович? — обратился директор к Шлионскому.

— Конечно, Гиви Лазаревич, то, что уводит от нас людей.

— Наверное, жилье? — вздохнул Гомелаури.

— И жилье тоже. Но на первом месте — желание дать детям лучшее образование и воспитание, то есть недостаточное развитие социальной инфраструктуры.

— Мы ведь готовим план капитальных вложений на будущую пятилетку? Давайте перераспределим средства. Воспользуемся правом комплексной стройки. Насколько я понимаю, эта причина главная и по объединению в целом?

— Да, особенно на Айхале и Удачном.

— Ну, на Удачном Громов все предусмотрел в проекте, остаются «пустяки» — построить...

ГОРОД У ПОЛЯРНОГО КРУГА

УЛИЦА Ленина — центральная в Мирном. Длинное трехэтажное здание института Якуттинпроалмаз стоит почти у въезда в город со стороны аэропорта. Неподалеку от него находится памятник первопроходцам — на 27-метровую высоту взметнулся монумент, силуэтом своим напоминающий кимберлитовую трубку. На вырезе ее прикреплена модель октаэдрического алмаза из стали. Пандус-трибуна, опоясывающая монумент, отделана цветной мозаикой, и издали кажется — брошена щедрой рукой россыпь драгоценных камней...

Памятник первопроходцам находится между карьером трубки «Мир» и Якуттинпроалмазом, и в этом есть некий символ, ибо институт исследует свойства кимберлитов и проектирует алмазные карьеры и фабрики.

Был ранний утренний час, и розовый шар солнца, выкатившись из-за отвалов пустой породы, висел над шоссе, связывающим город с аэропортом.

Когда Гомелаури подошел к институту, окна были темны и здание погружено в полумрак. Освещен был только вестибюль. Он приоткрыл стеклянную дверь и быстро закрыл ее, чтоб холодный ветер не повредил растения, — здесь, на первом этаже, разместились зимний сад. Тянулись вверх робкие стволы, грелись в лучах люминесцентных ламп кактусы.

Взяв ключ у вахтерши, Гомелаури поднялся в приемную, на второй этаж. Войдя в кабинет, включил свет — и сразу глазам открылся макет нового северного города у Полярного круга. Это был проект «Айхал», за который Якутинипроалмас получил золотую медаль на Всемирной выставке в Монреале. Но уникальный северный город начали строить не в Айхале, а на Удачном, и он стал известен как «город под куполом», хотя никакого купола над домами этого жилого комплекса не было — дома соединялись друг с другом крытыми галереями, которые должны были служить не только средством перехода, но там планировалось разместить кафе, киоски, цветы. Галереи связывали между собой не только все жилые дома — они соединялись со школой, детскими садами и общественным центром — клубом, библиотекой, большим спортивным залом...

Много раз Гомелаури приходилось рассказывать об этом городе гостям Мирного, приезжавшим со всех концов страны и из-за рубежа. Всех удивлял замысел мирнинских архитекторов, особенно умело спроектированный общественный центр Удачного с его удобной сетью обслуживания. А недавно самые младшие жители этого северного города получили подарок — детский сад с яркими красочными витражами, выполненными по эскизам заслуженного художника РСФСР Ю. А. Титова, и с плавательным бассейном.

Сев за стол, Гомелаури придвинул стопку чистых листов и быстрым почерком начал набрасывать: «Москва, Министерство цветной металлургии...» Он уже заканчивал письмо, когда прозвенел звонок: начинался рабочий день. На миг представил, как замерли над чертежными досками длинные шен кульманов — самых современных конструкций чертежных столов для проектировщиков, как включились электронные счетные машинки, зашелестели листы ватманов...

В кабинет вошел А. Н. Громов, главный архитектор проекта — гап Удачного.

— Что нового, Анатолий Николаевич? Садитесь.

Громов сел, прислонившись спиной к длинному столу, стоящему вдоль ряда окон. Чуть наклонив набок голову, огромный, старавшийся казаться меньше из-за своей природной деликатности, он начал говорить... Гомелаури, слушая его, припомнил, что когда Громов только приехал из Москвы и приступил к работе, по первому впечатлению трудно было

угадать в нем настойчивость и упорство, которые в сочетании с талантом архитектора помогли не только завершить проект, но и воплотить его в жизнь: начать строить новый экспериментальный город у Полярного круга.

— Уже функционирует 16-й дом в жилом комплексе, — рассказывал Громов. — Но столько недоделок... Да и качество работ далеко от задуманного.

— Это плохо... Но хорошо, что авторский надзор не дремлет, а? И все-таки главное, Анатолий Николаевич, — удобное жилье на Удачном есть. Дай бог миринцам иметь такое.

— Да и не только миринцам, Гиви Лазаревич, и в Москве дома с подобной планировкой — редкость. По метранку и удобствам это квартиры двухтысячного года.

— Да, всем северянам не мешало бы иметь танне... По бывал я в нескольких домах в этом экспериментальном городе — обширные коридоры с встроенными шкафами, большие кухни, лоджии. Между прочим, лоджии хороши не только на юге, кстати они оказались на севере. Летом они используются для отдыха, зимой там хранят и продукты, и сезонный инвентарь... Все-таки недаром пришлось похозяйствовать, есть и результаты, не так ли? Можно некоторые итоги подвести — впервые крупнопанельное домостроение освоено в условиях Якутии. И на уровне современного северного градостроительства, если уж быть точным.

— Что касается жилья на Удачном, согласен, Гиви Лазаревич. Но... до сих пор только пионерная группа на пять тысяч жителей соединена крытой галереей... Социально-бытовые функции не осуществляются. Те, что мы заложили в проекте.

— Видимо, уровень сознания строителей и... некоторых руководителей, — усмехнулся Гомелаури, — еще таков, что не так легко все это осуществить. Главное, Госстрой — за. Союз архитекторов страны с интересом следит за осуществлением нашего уникального северного проекта.

— Мне новый город дорог и как новая социальная городская структура, — голос Громова был тих и ровен, но директор уловил в нем оттенок горечи.

— Конечно, Анатолий Николаевич, хоть существующий уровень эксплуатации Удачного пока далек от заложенных в проект архитектурных идей, но многое делается. Не сразу, конечно... Запасемся терпением. Главное — чтоб у вас не остывал интерес к Удачному. А я постараюсь помочь вам не только как директор, но и как депутат. Сделаем все,

что в наших силах. И не будем отчаиваться. Время работает на нас. Пусть не сразу, но проект экспериментального северного города будет осуществлен...

ЗАПИСКИ
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

ТЕХСОВЕТ

ТЕХСОВЕТ начался ровно в два часа. Зная любовь к точности его председателя — главного инженера объединения Л. В. Желябина, члены техсовета, инженеры и руководители треста Якуталмаз, постарались прийти вовремя.

— На повестке дня вопрос об изменении углов наклона бортов карьера. Слово представителю ленинградского института Григорию Рафанловичу Глозману. — открыл заседание Желябин.

Спокойным голосом, умело скрывая волнение, Григорий Рафанлович, подойдя к заранее развешанным схемам, начал рассказывать.

Речь шла о первой алмазной трубке «Мир», разработавшейся открытым способом.

— Исходя из свойств пород и на основании проведенных расчетов, — голос Глозмана негромон, но было так тихо, что отчетливо слышалось каждое слово в большом кабинете главного инженера, — наш институт считает...

Предлагался усовершенствованный метод эксплуатации карьера, где велась добыча ценной кимберлитовой руды.

Члены техсовета внимательно слушали ленинградца.

Он назвал цифру — миллионы кубических метров, и среди членов техсовета раздались удивленные возгласы.

Председатель техсовета многозначительно постучал карандашом по столу. Глозман начал приводить расчеты, но заметил, как изменилось настроение членов техсовета. И действительно, как только он кончил, бурно начали выступать оппоненты.

— Такого еще не было в мировой практике! Мы не имеем права рисковать жизнью людей. Представьте, если обрушатся борта и громадные камни свалятся на головы работающих людей?

— Цифры цифрами, а вы можете предсказать, как поведут себя мерзлые породы при длительном обнажении? Ведь

Мари Софианиди. Алмазные годы Гомелаури

их поведение, как и поведение женщины, непредсказуемо, связывал следующий выступающий.

Глозман сидел, склонив голову. Ему были понятны опасения производственников, но ведь он все учел в своих инженерных расчетах, все доложил. Они что, невинно слыно слушали?

Начальник производственно-технического отдела треста Якуталмаз Гомелаури молчал. Он внимательно слушал выступающих, всматриваясь в них, и думал о том, что есть в их словах доля истины, что их волнуют вопросы безопасности горных работ, забота о людях, о механизмах, о судьбе карьера, наконец... Это так, конечно. Но нет ли в их рассуждениях... боязни риска? Взять на себя ответственность — а если что случится? Но так круто изменить борта карьера — большая инженерная смелость... Техсовет — орган, который волен или принять, или запретить...

Выступили еще несколько человек, и, казалось, от предложений ленинградского института остались одни осколки, которые впору выбросить, уже почти доказано, что осуществить это на «Мире» почти невозможно...

Л. В. Желябин выразительно посмотрел на Гомелаури, и тот выдержал взгляд, не отвел глаза, но молчал. Председатель ждал, что скажет начальник ведущего в этом вопросе отдела треста, горный инженер с таким большим производственным стажем. Нет своего мнения? Как бы не так, очень уж на него непохоже. Наверняка еще до техсовета ознакомился со всеми материалами и засыпал Глозмана вопросами, вряд ли он пришел на техсовет в неведении. За или против вы, Гиви Лазаревич?

Когда закончил выступление последний оппонент, Гомелаури быстро поднялся и, опершись ладонью о стол, заговорил — вначале медленно и тихо, и надо было даже напрячься, чтобы расслышать окончания фраз, но постепенно голос его накалялся, наполнялся энергией и зазвучал — и на глазах присутствующих раскручивалась пружина мысли.

Да, он, Гомелаури, целиком поддерживает оппонентов. Они правы в своих сомнениях, их действительно беспокоит судьба тех, кому непосредственно придется работать в яме — карьере, ставшем уже таким глубоким на первой алмазной трубке страны... Но в не меньшей мере он понимает, как дерзки, смелы и оригинальны высказываемые идеи. Упрекать докладчика в том, что он не рассчитал поведение мерзлых по-



род? Но Глозман хорошо знает Север, много поездил по нему. В Норильске породы прочнее? Согласен, там скальные породы, и вопрос крутизны бортов карьера там не вызвал бы таких споров. Здесь, в Западной Якутии, породы значительно слабее, и когда прогревает солнце, они становятся даже коварными. Но можно найти и встречное инженерное решение — например, те же породы искусственно укрепить. Или что-нибудь другое. Надо подумать... Но в принципе с инженерными расчетами Глозмана он, Гомелаури, вполне согласен, внимательно их сам рассчитал еще до техсовета, ибо идея ему понравилась сразу, но, чтобы заглушить в себе сомнения, решил подкрепить интуицию точными расчетами. Он — за предложение и готов нести всю меру ответственности вместе с Глозманом и руководством треста...

— Рассмотренная нами сегодня работа, — закончил он выступление улыбкой, — не попытка предсказать поведение женщины. Думаю, что карьер поведет себя согласно инженерным расчетам.

НА ТРУБКЕ «МИР»

ГИГАНТСКАЯ чаша карьера напоминала кратер вулкана, если бы не звуки, сконцентрированные в симфонию, в которой слышались и рев набирающихся по крутому серпантину БелАЗов, и скрежет вгрызающихся в зеленовато-голубой кимберлит стальными челюстями ковшей экскаваторов, и шум буровых станков.

Окинув карьер взглядом, Гомелаури наметил место, где удобней всего остановить машину, и сказал об этом шоферу. Газик, уступая дорогу тяжело груженным самосвалам, подъехал к предпоследнему горизонту. Гомелаури первым вышел из машины, за ним — приехавшие с ним представители ведущих институтов страны. Многие из них впервые видели знаменитый алмазный карьер и с интересом всматривались в него, слушая рассказ директора института.

...Сюда, к алмазной трубке «Мир», вели многолетние поиски материнского кимберлитового тела. Трубка была открыта в 1955 году и уже через два года в тасманной глухомани начали выдавать промышленные алмазы. Велико было удивление иностранных специалистов, которые на основании трез-

Мэри Софьяниди. Алмазные годы Гомелаури



вых инженерных расчетов подсчитали, что к отработке трубки можно будет приступить только к двухтысячному году, ведь она расположена за тысячу километров от больших городов, а вокруг нет ни одной дороги, по которой можно было бы переправить технику — самосвалы, бульдозеры, бурстанки... Но к трубке «Мир» буквально через год после ее овантуривания геологами приступили эксплуатационники — с нее был снят верхний поросший травами и кустарничками слой, провели первую траншею, взорвали первую глыбу, и первый экскаватор зачерпнул ковшом груды рассыпавшейся после взрыва зеленовато-голубой породы, еще покрытой изморозью — следами вечной мерзлоты. С годами карьер стал уходить вглубь...

Гомелаури вел приезжих по кромке спирального спуска, идущего вдоль бортов карьера. Работающих почти не было видно — они сидели в кабинах огромных БелАЗов или бульдозеров, постоянно выравнивающих дорогу.

Идя впереди, он всматривался в экскаваторы, которые походили на гигантских животных, и раздумывал о том, что с годами количество загадок кимберлитовой трубки прибавляется. Первая загадка, наверное, — поведение лисы, вспомнил он историю открытия трубки. На огромном пространстве тайги лиса вырыла нору именно на трубке, что облегчило в какой-то мере на последнем этапе ее нахождение...

Как геологи объясняют появление кимберлитовой трубки? Одна из гипотез — взрыв, из верхней мантии несется шквал расплавленной магмы, которая, найдя в земной коре наиболее слабое место, застывает в виде гигантской трубы, сужающейся к низу.

— Глубоким бурением было выявлено, — продолжал Гомелаури, — что кимберлитовая трубка пересекает слои каменной соли, мергелей, известняков. Нижние горизонты карьера уже заливают низкотемпературные воды. Высокая минерализация, естественно, затрудняет ведение горных работ.

— Гиви Лазаревич, когда институт начал изучать свойства соленосной толщи?

— Как только были получены данные об этом. Намечены мероприятия по защите рабочей зоны карьера. Но перед исследователями Якутинипроалмаза встал ряд сложнейших проблем, которые можно решить только в комплексе со многими институтами страны, — голос его тонул в доносившемся из нижнего горизонта скрежете и скрипе механизмов.

— Вот одно из средств защиты рабочей зоны карьера от высокоминерализованных вод, — пояснил Гомелаури, указав на буровые, гигантским ожерельем опоясавшие на поверхности карьер. — Из скважин выкачивается вода и одновременно ведется исследование деформации поверхности и окружающих кимберлитовую трубку пород. Так что «Мир» находится под нашим бдительным оком, малейшие изменения будут замечены и приняты соответствующие меры. — И затем стал рассказывать о том, каким будет проект первой алмазодобывающей шахты. Пока же идет углубка карьера...

Они прошли еще немного вперед и остановились — отсюда, снизу, головокружительной казалась высота карьера, вырытого машинами и людьми за двадцать три года.

Речь зашла о бортах карьера, и Гомелаури вспомнил техсовет шестидесятых годов, жаркие дебаты. Что ж, за восемь лет отработки доказана перспективность и эффективность крутых бортов карьера, предложенных Глозманом.

— Гиви Лазаревич, сколько миллионов рублей сэкономлено в результате внедрения крутых бортов?

Гомелаури назвал цифру.

— Внушительно...

— Горная наука — искусство, — продолжал Гомелаури. — И интуиция играет в ней немалую роль. Но, — он сделал паузу, — особенно хорошо, если интуиция подтверждается инженерными расчетами. Так подсказывает мне и опыт горного инженера, и опыт менеджера.

— Вы не прогадали, Гиви Лазаревич, пригласив Глозмана основать и возглавить в Якутии проалмазе лабораторию геомеханики.

— Да, он теперь работает над докторской диссертацией. Материалы разработок алмазных трубок уникальны. Их следует обобщить...

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

ПРОЕКТИРОВЩИКИ московского института Цветметпроент, создавая проект Мирного, определили ему скромное место жилого поселка при тресте Якуталмаз. Но за 25 лет своей истории Мирный вырос в крупный по северным масштабам город, в столицу алмазного края.

Мэри Софианки. Алмазные годы Гомелаури

Что же изменило судьбу города? Одна из главных причин — тысячный коллектив интеллигенции, сконцентрированный в Якутинипроалмазе. Институт немало способствовал тому, чтобы поднять интеллектуальный уровень 30-тысячного таежного города, наполнив его жизнь особым смыслом.

Это прежде всего касается производства... В Якутинипроалмаз приехали специалисты из проектных и научно-исследовательских институтов Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Фрунзе, Хабаровска, Тбилиси, Иркутска, Новосибирска, Томска. Они решают уникальные научные проблемы, связанные с исследованием физических и химических свойств кимберлита, с созданием новой технологии извлечения алмаза, со строительством на вечной мерзлоте многоэтажных жилых домов и промышленных сооружений.

Но не только решение научных и производственных задач позволило Якутинипроалмазу стать одним из центров интеллектуальной жизни алмазного края. В институте часто проводятся выставки, поэтические встречи, концерты классической музыки и джаза, заседания секции архитекторов с выставкой их работ, концерты самодеятельных композиторов — вечера, которые становятся событием культурной жизни города и республики.

Понимая это, Гомелаури, несмотря на огромную занятость, всегда находит время, чтобы побывать на генеральной репетиции, произнести яркую, эмоциональную речь.

— Институт, — говорит он неоднократно, — должен держать марку во всем, касается ли это научных исследований или праздничного вечера.

Высокий интеллектуальный уровень институтских вечеров объясняется прежде всего тем, что здесь работает немало интересных людей...

Каким остроумным и находчивым капитаном КВН был В. В. Рудаков, когда он возглавлял горную лабораторию и комсомольскую организацию Якутинипроалмаза! Кандидат технических наук Г. Р. Глозман печатался в «Юности», различных ленинградских изданиях, но инженер и ученый победил в нем поэт и поэтому он считает, что сейчас не вправе предлагать свои стихи журналам, хотя по-прежнему их пишет. У Е. Л. Шлионского, сына ленинградского пушкиниста, вышел сборник стихов «Тайфун» в издательстве «Советский писатель», песню «Соломинка» на его слова поет Алла Пугачева. А. Н. Громов, сын московского архитектора, окончил музыкальное училище имени Гнесиных, пел на оперной сце-

не, пока страсть к архитектуре в нем не победила. Но в институте он принимал самое активное участие в художественной самодеятельности. В. В. Преловский, работник лаборатории охраны окружающей среды, является литературным руководителем литобъединения «Кимберлит», собравшего всех пишущих в алмазном крае, рассказы его печатаются в Якутии, Москве, Польше. Григорий Гомелаури, сын Гиви Лазаревича, инженер, недавно окончивший институт, создал в Якутии проалмазе оркестр, который стал лауреатом конкурса политической песни в г. Новосибирске. Этот список можно долго продолжать...

Недавно в институте был проведен вечер интернациональной дружбы, посвященный 60-летию образования СССР. Были приглашены гости из якутского села Вилочаны, находящегося в 100 километрах от Мирного, с которым институт связан узами крепкой дружбы.

Подготовка к вечеру, как обычно, началась в кабинете директора. Была составлена программа, намечены ответственные исполнители, и, как обычно, Гиви Лазаревич дал четкие, лаконичные предложения, касающиеся существа дела.

Большой конференц-зал был оформлен нарядно: украшен лозунгами, транспарантами, якутскими изделиями старых мастеров — из коллекций сотрудников института. В центре зала расставлены столики, на них чашки с кофе, вазы с фруктами. Лучшие места отвели гостям — жителям якутского села.

Открыл вечер Гиви Лазаревич. Он произнес вдохновенные слова, которые рождались из самого сердца и не могли оставить равнодушными никого из сидящих в зале, ибо это не походило на традиционную праздничную речь, а скорей на мудрый грузинский тост — он был словно тамада на этом вечере.

— Что такое родина? — закончил свою речь Гомелаури. — Только ли это место, где человек родился? Мирный для всех нас, родившихся в Грузии и на Украине, на Урале или в Хабаровске, стал родиной, потому что именно здесь наши знания и труд принесли максимальную пользу...

На этом вечере Гомелаури передал директору вилочанской школы, заслуженному учителю РСФСР В. Г. Акимову

Мэри Софианиди. Алмазные годы Гомелаури



макет, проект и рабочие чертежи музея, которые сотрудники института сделали во внеурочное время.

На 700 квадратных метрах будущего музея, который уже строится в Вилочанах, будут собраны фотографии, макеты и проекты самых интересных зданий, созданных на Севере, лучшие произведения фотомастеров, снимающих Север, произведения графики и живописи. Более тысячи экспонатов институт уже отправил жителям села.

ИНТЕРВЬЮ С СОЦИОЛОГОМ

М. Софианиди: — Евгений Львович, мы оба сотрудники института Якутинипроалмаз, и перед нами стоит трудная задача: оценить работу нашего директора.

Е. Шлюнский: — Это невероятно трудно, Мэри Михайловна, но раз вы такая смелая женщина, что же остается нам, мужчинам... Сразу оговорюсь: я редко верю позитивным материалам о крупных руководителях. Очень уж они безупречны, всемогущи, без пятен на солнце. Всякий, кто знаком с работой советского менеджера, понимает, как трудно этим людям, как неоднозначны действия управленческих решений, что невозможно быть хорошим для всех, что любые достоинства менеджера имеют тень в виде недостатков. Хороший руководитель — это, на мой взгляд, тот, чьи достоинства перевешивают недостатки.

М. Софианиди: — И, как правило, чем ярче достоинства, тем заметнее и недостатки... Гомелаури — руководитель, несомненно, яркий... Какое же, на ваш взгляд, его главное достоинство?

Е. Шлюнский: — Главное достоинство Гомелаури — институт Якутинипроалмаз. Это комплексный институт во всех значениях этого многозначного слова. Он не только проектный, но и научный, включающий в себя опытную обогатительную фабрику, механические мастерские, конструкторское подразделение. Таких комплексных институтов в стране не так мало. Якутинипроалмаз — и технологический, и строительный институт одновременно. Такие институты в стране тоже есть. Официально Якутинипроалмаз — головной по алмазодобывающей промышленности. Фактически же он, кроме того, несет функции территориального института по Западной Якутии и в промышленном, и в гражданском строительстве. Такое совмещение встречается редко. А сочетание всех

этих функций одновременно в одном институте — явление уникальное. Эта комплексность предъявляет и к директору этого института особо высокие требования... Мало быть прекрасным специалистом в узкой области, например горным инженером. Надо обладать широтой мышления, сочетать в себе эрудицию инженера в самых разнообразных технических областях — горном деле, обогащении, строительстве, электронике, архитектуре, автоматизации, мерзлотоведении. Мало быть только инженером. Надо одновременно быть экономистом и, как любому руководителю, хоть немного социологом и психологом. Пятнадцать лет работы Гомелаури директором института подтвердили, что он обладает всеми этими качествами. Более того, в том, что институт сложился таким, какой он есть, — большая заслуга Гиви Лазаревича. Ведь когда Гомелаури принял институт, Якутинипроалмаз решал узкие производственные задачи.

М. Софианиди: — К положительным качествам Гиви Лазаревича я бы отнесла эмоциональность. Она зажигает коллектив, вызывает доверие, помогает вести за собой людей.

Е. Шлионский: — Согласен, что эмоциональность — положительное качество. Но вот ее тень — эмоциональный человек не всегда может быть справедливым. Гомелаури, конечно, не исключение. Правда, надо отдать должное, больше всего достается его любимым сотрудникам, например главным инженерам проектов — гипам...

М. Софианиди: — Пока институт не был таким разнообразным и сложным, у Гомелаури были слабые и безынициативные замы и зачастую всю управленческую работу он выполнял сам.

Е. Шлионский: — Но к его чести следует заметить, что когда объемы работ института усложнились и потребовали коллективного руководства, у него появились молодые сильные руководители — А. П. Верменич, В. А. Телеллев, В. М. Зуев. И еще, пожалуй, следует отметить, что если Гомелаури принимает личное участие в проблеме, заинтересован в ней, она продвигается, идет легко. Но если остывает, терлет к ней интерес — проблема обречена... Впрочем, вспомним известную притчу об орле, который опустился на забор. Увидел его в этот момент петух и, разглядев недостатки, начал перед ку-



рами сравнивать себя с орлом, считая, что он на заборе выглядит более впечатляюще... По моему мнению, орла надо рассматривать в высшей точке полета или, в крайнем случае, на самых высоких горных пиках. А наши внутриучрежденческие недостатки для Гиви Лазаревича — это тот самый забор.. В жизни Гомелаури — наверное потому, что он с Кавказа — было немало покоренных вершин, а полет его мысли так высок, что следить за ним большое удовольствие.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ

РАБОТА над очерком уже была завершена. Поздно вечером, накануне ноябрьских праздников, из Москвы в Мирный позвонили генеральному директору и сообщили, что группе работников объединения Якуталмаз присуждена Государственная премия СССР за 1982 год. Среди награжденных — горные инженеры Гиви Лазаревич Гомелаури, Григорий Рафаилович Глозман, Валерий Владимирович Рудаков...

В НЕДАВНЕЙ работе «Волжское село» мы рассказали о жизни правнука Вахтанга VI, хранителя некоторых грузинских сокровищ, предводителя нижегородского дворянства князя Г. А. Грузинского. И лишь коротко сообщили, что у него была дочь, «известная графиня Толстая».

Между тем жизнь и судьба ее представляют для нас не меньший интерес.

Во II томе своих «Записок» Ф. Ф. Вигель, литератор прошлого века, оставивший довольно полные воспоминания о деятелях первой половины прошлого столетия, рассказывая о посещении им Нижнего Новгорода в 1820 году, пишет: «Я представил веселую, забавную (хотя и не слишком) сторону тогдашнего нижегородского жителя... Всеповелительным деспотом с давних пор проживал в сей губернии сын одного грузинского царевича, князь Егор Александрович.

Царского происхождения, с полуденной кровью, с пылкими страстями, с крутым нравом, князь Грузинский точно княжил в богатом и обширном селении своем Лыскове, на берегу Волги, насупротив маленького городка Манарьева... Он был в это время вдов:

Борис
АНДРОНИКАШВИЛИ

ПОТОМКИ ВАХТАНГА VI В РОССИИ

жена его, урожденная Бахметева, скончалась во цвете лет, замученная столь же частыми изъяснениями его бешеной любви, как и порывами его неукротимого гнева, и оставила ему сына и дочь. Сын, офицер гвардейский, умер еще в молодости; а единственная, прелестная тогда дочь его убегала общества и, вопреки обычаям других красавиц, столь же тщательно скрывала красоту свою, как те любят ее показывать».

И далее, о ней же: «Впоследствии она была замужем за одним весьма мне знакомым графом Толстым. Ее набожность, ее уединенная жизнь до высочайшей степени возбуждали любопытство праздных провинциалов; от того множество догадок, выдумок. Пострижение в монахи одного юноши, воспитанного в доме отца ее, поддало мысль о целом романе. Утверждали, что когда влюбленные признались князю во взаимной страсти, он объявил им, что брак их дело невозможное, ибо молодой человек — его побочный сын и на сестре жениться не может; тогда оба дали обет посвятить себя монашеству. Одна путешественница, английская леди, бывшая в Москве, посетила и Троицкую лавру, где отец Антоний, мнимый любовник, был тогда наместником. Ей рассказали о поэтическом начале его жизни, она составила из этого трогательную повесть и напечатала ее в одном великолепном кипсеке. А я полагаю, что, наследуя упрямство отца, девица просто отказывалась от света, потому что он желал ее видеть в нем и того требовал».

Стиль Ф. Ф. Вигеля таков, что поначалу вызывает недоверие к сообщаемым им фактам. И действительно, тут тебе и полуденный князь, и прелестная дочь, и несчастная любовь, и даже путешествующая английская леди. Однако давно установлено, что в форме пустой развязной болтовни Вигель передает важные сведения, рассказывает о подлинных событиях.

В приведенном отрывке все верно, хотя и не полно. А. О. Смирнова-Россет, приятельница Пушкина, Лермонтова и Гоголя, тоже рассказывает об этой романтической истории: «Антоний был побочный сын грузинского царевича и родился в его доме в Нижнем, красивой наружности и очень самолюбивый. Отец сделал из него аптекаря и лекаря. Единственная дочь царевича Анна Егоровна влюбилась в красивого юношу. Царевич уговорил сына посвятить себя богу и церкви и отослал его в Саровскую пустынь. Вскоре его постригли. Дочь, княжна, не хотела выходить замуж, что очень огорчало старика-отца, и просилась в монастырь. Он ее отпустил, и она отправилась в Костромскую губернию, в тамошнюю обитель».

Таким образом, Антоний и Анна Георгиевна не только «дали обет посвятить себя монашеству», но и исполнили его. Далее А. О. Смирнова сообщает, что вскоре «игуменья» заметила, что душа Анны Егоровны была взволнована. Письменно она известила царевича, что считает его дочь не созданной к монастырской жизни», и отец забрал ее из монастыря.

А. О. Смирнова хорошо знала Анну Георгиевну, они принадлежали к одному обществу. Она знавала также и Антония, с которым познакомилась в Загорске в бытность его настоятелем.

Антоний (в миру — Медведев) после пострижения быстро зашагал по иерархической лестнице и в 1831 году стал уже настоятелем Троице-Сергиевской лавры в нынешнем Загорске. Более того, расцвет лавры (одной из двух крупнейших в России) связан с его именем.

А. Н. Муравьев, обследовавший некоторые монастыри и церкви, писал обер-прокурору Синода графу Протасову Н. А. в 1837 году: «В Троицкой лавре, в которой я провел на празднике два дня в чрезвычайной суете, я заметил однако ж с большим утешением благочиние и устройство, которые завел там наместник архимандрит Антоний, человек весьма замечательный в быту монашеском, по своему собственному духовному образованию, полученному в Саровских лесах. Его ежедневная трапеза для нищих, и больница, где сам лечит, и богадельня, где всякий вечер читает сам правила всей братии, поистине заслуживают внимания. В семилетнее его управление Троицкая лавра совершенно преобразилась».

Известно также, что Антоний ездил по святым местам Палестины и Синая, собирая там старинные рукописные книги и другие русские древности, которые и привез в Россию. Он был ближайшим сподвижником московского митрополита Филарета, который много делал для укрепления влияния церкви и благочиния ее.

Анна же Георгиевна к большому огорчению отца не выходила замуж, вела уединенный образ жизни и отличалась особенной религиозностью. Жила она в это время в Нижнем Новгороде, где отец ее был губернским предводителем дворянства. Дом их стоял на нынешней Грузинской улице.

Вместе с садом он занимал два квартала; размеры его для деревянного здания были огромны. Сразу видно было, что здесь некогда жил екатерининский вельможа.

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.

Храмцовский, нижегородский краевед, указывает в «*Сво-
ем труде о Нижнем Новгороде, что «сад гр. Толстой с тенк-
стыми липами и березовыми аллеями и множеством фрукто-
вых деревьев занимал в окружности более версты. В 30-х го-
дах XIX столетия он был местом гуляния нижегородской
публики; в нем была кондитерская; в воксале его в праздни-
ки по вечерам играла музыка и танцевало образованное со-
словие».*

Набожная графиня ходила в Покровскую церковь, ныне
не существующую. Здесь в 1820—1828 гг. не раз служил
католикос Грузии Антоний II. Занималась музыкой, которую
очень любила.

На Покровке же в собственном доме напротив Благород-
ного собрания жило семейство князей Трубецких — ее двою-
родных братьев и сестер. Мать их, Дарья Александровна Гру-
зинская, была ее родной теткой.

«Тогда в верхней части города, — читаем мы у другого
нижегородского краеведа Гасницкого, — жили по преимущест-
ву дворяне и чиновники, в нижней — купцы. Местом го-
родских гуляний был Черный пруд. Балы в дворянских до-
мах и у губернатора начинались не позже 7 и оканчивались
не позже 11. На масленице нижегородский бомонд катался по
городским улицам в колоссальных санях в виде лодки, за-
пряженных в 8 и 10 лошадей, с музыкой и песнями. Улицы
и тротуар мостились лесом, по которому ездили, как по
полу».

Но Анна Георгиевна, как мы уже знаем, избегала всех
этих удовольствий, чуралась общества и проводила дни уеди-
ненно то в нижегородском доме — зимой, то в лысковском —
летом, где были чудесный парк и вид на Волгу. Помногу она
бывала также в селе Всесвятском, под Москвой, памятном
ей с детства.

Будучи богатой невестой и красивой девушкой, она не-
изменно отвергала все предложения, проведя в одиночестве
лучшие молодые годы. Эта верность данному обету не может
не вызывать уважения. Недалекие люди, правда, называли
это причудою. Позже и тургеневские девушки, верные своему
единственному чувству, тоже казались им странными. Нет
сомнения, однако, в том, что ее твердость во многом объясня-
лась и ее набожностью, которая тоже была средством проти-
вопоставить себя окружающей действительности и всему то-
му, что разрушало прежний уклад.

Усиление религиозного чувства как протест против нарастающего влияния торгового капитала и иных примет «нового времени», разрушающих сложившуюся дворянскую этику, было характерной чертой тогдашнего общественного движения. Церковь стала прибежищем для тех, кто за церковными заповедями «не убий», «не лги» и т. д. видел возможность сохранить честь и лицо в сложном мире экономических эволюций. В религии они искали решение волнующих их вопросов, прочную основу для своей жизни, тот нравственный щит, который поможет им отгородиться от современности.

Мы еще увидим, что не только в жизни графини Толстой, но и в деятельности других известных ее современников, таких, например, как Гоголь, эти религиозные мотивы и настроения играли существенную роль.

Анне Георгиевне шел 35-й год. Князь был уже стар, а она одинока и беспомощна. И вот в 1833 году она, наконец, связала свою судьбу с графом А. П. Толстым, генералом и губернатором (тверским и одесским).

Почему она решила изменить своему обету, и чем определялся ее выбор?

Во многом это объясняется личностью самого А. П. Толстого. Чтобы рассказать о нем, нам придется вернуться на много лет назад.

Царевич Георгий, младший сын Вахтанга VI, брат Бакара и Вахушти, крупный жертвователь Московского университета и строитель Георгиевской церкви на Б. Грузинской улице в Москве, был боевым генералом русской армии, участвовал во многих войнах, в том числе со Швецией, где командовал гренадерами и мушкетерами, в Рейнском походе, где «русские впервые заявили о себе в Европе», и в Семилетней войне. За боевые заслуги он был награжден высокими орденами и чином генерал-аншефа, которого удостаивались выдающиеся генералы. Кроме того, он был придворным императрицы Елизаветы и числился «действительным камергером».

Жизнь его протекала благополучно. Несчастлив он был только в своем потомстве.

Два его сына умерли, а единственная любимая дочь Анна в 16 лет вышла замуж за А. В. Голицына, «генерал-майора и кавалера», и тоже умерла в 1779 году в возрасте всего лишь 25 лет, оставив трех дочерей и сына.

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.

Дети жили сначала с отцом, а потом, после его смерти, с дедом Георгием Вахтанговичем. В 1793 году, уже после его кончины, они по велению Екатерины переехали в Петербург. В собственноручном письме генерал-губернатору Москвы князю А. А. Вяземскому императрица писала: «Трем дочерям покойного князя Алексея Борисовича Голицына объявите желание мое, чтоб они сюда приехали». Она же затем и выдала их замуж.

Из воспоминаний известно, что «сын Анны, Георгий, рано лишился матери и получил воспитание в Париже, куда его отправили с губернатором-французом. Парижское воспитание дало ему прекрасное знание языка. Он был человек даровитый, обладал способностью рисовать и отличался остроумием». За вольнодумство он был прозван «якобинцем». В знак протеста против павловского режима он небрежно и неохотно поцеловал государю руку, за что и был выслан из столицы.

Георгий не был женат и скончался сравнительно молодым, в возрасте всего лишь 39 лет.

Одна из его сестер, Софья, вышла замуж за генерал-адъютанта Э. Ф. Сен-При, который был начальником штаба Багратиона при Смоленске и Бородине, где так же, как и его командир, был ранен. При Смоленске же командовал корпусом (4-м) граф Остерман-Толстой, женатый на другой дочери Анны — Елизавете.

Старшая же дочь — Мария (1772 — 1826) была выдана замуж за П. А. Толстого. Это был приятель и соратник П. И. Багратиона. Он отличился при взятии Варшавы и штурме Праги. В реляции о пражской битве Суворов доносит: «Граф Толстой, командуя двумя батальонами во главе колонны, с первыми вошел на батарею и овладел ею, где и ранен». Императрица Екатерина сама «возложила» на него орден Георгия III степени. Он был генерал-адъютантом Павла и знал о заговоре. В дальнейшем был командиром Преображенского полка, где начал службу напралом. В 1801 году командовал корпусом, был при Аустерлице. Ездил со специальным посольством в Париж, участвовал во встрече в Тильзите. В войну 1812 года генерал-лейтенант П. А. Толстой командовал III округом народного ополчения, штаб которого располагался в Нижнем Новгороде. В походе во Францию в 1813-14 гг. был дежурным генералом Александра I, «его оком», должен был доносить все откровенно, неллицеприятно.

Мария принадлежала к высшему придворному кругу. «Она имела ум оригинальный, с необыкновенными странно-

стями». Посол Наполеона Савари в «Листках новостей», отсылаемых им систематически в Париж, пишет о ней, как о важном лице в петербургском обществе.

Она была известна также всей Москве. Скончалась она в возрасте 54 лет, погребена в Донском монастыре, где и предки ее, рядом с мужем.

У них было много детей, которые гордились своим происхождением.

Вот за одного из сыновей генерала П. А. Толстого и Марии, за Александра Петровича, и вышла замуж Анна Георгиевна Грузинская, сплетя таким образом две братские ветви Багратионов — царевичей Бакара и Георгия. Будучи оба прямыми потомками Вахтанга VI в четвертом колене, они были таким образом четверородными братом и сестрой. Анна Георгиевна была последней в старшей ветви сыновей Вахтанга VI — Бакара. Александр Петрович принадлежал к младшей — Георгия.

Уже одно это обстоятельство делало этот брак впечатляющим. Кроме того, Александр Петрович был тоже человеком набожным и в не меньшей степени, чем сама княжна.

Но было и еще одно обстоятельство, которое делало этот брак не совсем обыкновенным. Ограничимся свидетельством той же А. О. Смирновой: «35-ти лет она вышла за А. П. Толстого, святого человека. Он подчинялся своей чудачке и жил с нею, как брат... Все эти Толстые оригиналы», — заключает она.

Этот странный брак был удивителен для тех, кто не знал о пережитом Анной Георгиевной в юности тяжелом потрясении, о горьком обете, данном ею и отцом Антоном, и о глубине ее набожности.

Александр Петрович был человеком высокообразованным, владел в совершенстве несколькими языками, в том числе греческим, был в разное время губернатором, тверским и одесским, обер-прокурором Синода, членом Государственного совета, генералом.

Но он не был карьеристом, ценил людей независимых и передовых. Например, предлагал свое сотрудничество М. А. Бакунину, известному анархисту и бунтарю. Гумбольдт, де Местр, Карамзин, Жуковский, Сперанский, Пушкин, Гоголь были его близкими знакомыми или друзьями.

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.



«Одарен был весьма тонким и изящным умом, впечатлительным и способным к самым тонким постижениям». Особо любил греков и Грецию.

Гоголь, например, с его скептицизмом по отношению к царской администрации и крайним неприятием всей военно-бюрократической системы николаевской России считал его «феноменом государственного человека — суров, строг, честен, не терпит лести, истинно верующий».

В молодости Александр Петрович служил на военной службе, в 1834-37 гг. был тверским губернатором, в 1837 — 1840 — одесским военным губернатором и как таковой общался с большим количеством людей.

У них был собственный дом. Частичное представление об их быте дают воспоминания А. О. Смирновой-Россет.

«Граф вывез дьячка из Иерусалима. Это был такой чтец, слова выкатывались, как жемчуг. После обедни пили чай в длинной гостиной; его разливала Софья Петровна Апраксина (сестра графа). Подавался чай, кофе, шоколад, крекдели и сухари всякого рода. В гостиной стоял рояль и развернутые ноты, музыка вся духовного содержания. Графиня была большая музыкантша. Граф бегло читал и говорил по-гречески; акафисты и каноны приводили его в восторг; они писаны стихами, и эта поэзия ни с чем не может сравниться.

Графиня принимала по вечерам с семи часов. Серафима Голицына им читала вслух какую-нибудь духовную книжку, а через день приходил греческий монах и читал тоже... Вся ее забота состояла в том, чтобы угодить мужу. Она видела только тех, которых любил ее муж. «Как я люблю греческий звук, потому что граф это любит. И вас я люблю, потому что он вас любит. Мы благодарны Гоголю за наше знакомство». «Все эти Толстые оригиналы, а больше всего Александр Петрович».

В России было сложно, тяжело. Николай и Бенкендорф глушили все живое. Крепостное право изживало себя.

Не случайно поэтому многие русские люди путешествовали за границей. Они как бы искали там ответа на интересующие их вопросы и вообще хотели подышать «воздухом свободы». Не говоря о Герцене и Огареве, многие годы жил за границей Жуковский. Уехали Гоголь, Смирнова-Россет. Отправились путешествовать, подобно многим другим, граф и графиня Толстые.

Теперь мы можем приступить к рассказу о том, что является, пожалуй, самым интересным в жизни графа и графини Толстых.

В 1842-43 гг. в Париже они знакомятся с Гоголем.

В длинном обстоятельном письме к Н. М. Языкову от 12 ноября 1844 года Н. В. Гоголь сообщает из Франкфурта:

«...У меня есть один приятель, человек слишком замечательный, с которым ты после познакомишься. Он теперь в Париже, но весной или летом будет в Москве, именно граф Александр Петрович Толстой, брат того, которого ты знаешь. Человек, потому замечательный, что принадлежит к слишком немногочисленному числу тех людей, которые способны сделать много у нас добра при нынешних именно обстоятельствах России, который не с европейской заносчивой высоты, а прямо с русской здоровой середины видит вещь. Он много видел, был два раза губернатором, в Одессе и Твери, умел видеть ошибки другого и даже свои собственные, и теперь стал на такую точку, что может, не распекая и не разгоняя людей, сделать существенное добро, то есть усмирить там, где иной с благородным намерением добра может произвести кутерьму и раздор».

В другом письме ему же от января 1845 года Николай Васильевич пишет: «...В Париже проживу месяц, а может быть, и более; самого Парижа я не люблю, но меня веселит в нем встреча с близкими душе моей людьми, которые в нем теперь пребывают, а именно с графинями Вьельгорскими и гр. Толстым, братом того, которого ты знаешь, у которого я и остановлюсь, а потому ты адресуй следующие твои письма на имя графа Толстого в Париж: улица Мира, отель Вестминстер, № 9».

Еще в одном письме ему же, рассказывая о пребывании в Париже, Гоголь пишет:

«О Париже снажу тебе только то, что я вовсе не видел Парижа. Я и встарь был до него не охотник, а тем паче теперь... Никого, кроме самых близких моей душе, т. е. графинь Вьельгорских и графа А. П. Толстого, не видал... Противу всякого чаяния, я прожил, однако ж, эти три недели хорошо, в отношении моральном, Жил внутренне, как в монастыре».

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.

О графе и графине Толстых упоминается также в письмах Гоголя к А. М. Вельгорской («Я вспомнил, между прочим, о графине Толстой, находящейся ныне с вами в Париже»), Н. Н. Шереметевой («В Париже виделся только с одними близкими, немногими, но прекрасными душами»), В. А. Жуковскому («Граф Толстой также говел вместе со мной»), С. М. Соллогуб («В Грефенберге граф А. П. Толстой, который всем вам сердечно и душевно кланяется»), В. А. Жуковскому («Ехать в Грефенберг... меня побудило самое пребывание в Грефенберге графа А. П. Толстого»).

Затем тон сообщений Гоголя становится еще теплей, сердечней. А. О. Смирновой из Рима: «Часто бываю у Апраксиной Софьи Петровны, потому что она также очень добра и притом сестра моего любезного Александра Петровича»; В. А. Жуковскому из Флоренции: «Я только заеду на три дня в Париж единственно для того, чтобы взглянуть на моего доброго графа А. П. Толстого». Ему же из Остенде: «На днях я был обрадован почти неожиданным приездом любезного моего графа А. П. Толстого, Вам весьма известного». П. А. Плетневу из Неаполя: «Граф Александр Петрович Толстой мой большой друг и человек очень нужный для России во многих самых существенных отношениях».

Находясь в Неаполе, Гоголь ожидает А. П. Толстого, «который также к этому времени приедет в Неаполь с тем, чтобы выпроводить меня к святым местам, а может быть даже и самому туда пуститься».

В другом письме к М. А. Константиновскому, ржевскому протонереву, с которым Гоголя познакомил граф Толстой, Николай Васильевич сообщает: «Графа Александра Петровича я видел на один день во время проезда его в Англию... Он должен был отложить возврат свой в Россию до весны. Он будет также в Неаполе для свидания со своей сестрой Апраксиной. Стало быть, я с ним опять увижусь».

Далее Гоголь сообщает, что Толстой тоскует, и в другом письме к этому же лицу рассказывает о причине этой тоски: «Видя его тоскующую душу и безотрадные жалобы на жизнь, потерпевшую для него цену, которой конца он ожидал с нетерпением, я старался склонить его взять какую-нибудь должность внутри России и взглянуть на это, как на дело христианское... Я услышал о множестве всякого рода несправедливостей и беспорядков, происходящих ныне от начальников,

не умеющих как следует взяться за это дело. Александр Петрович как человек, искушенный опытом и всякими испытаньями, мне казался теперь особенно нужным в России. Об этом я писал к нему письма, которые не попали в мою книгу и не пропущены, тогда как, по моему убеждению, они гораздо полезнее и нужнее всех помещенных».

Переписка Н. В. Гоголя с Анной Георгиевной и Александром Петровичем отражает все нарастающую их духовную близость, быстро перешедшую в дружбу.

Среди сведений о погоде, о Жуковском, всяческих наставлений — признания: «Часто желалось бы иметь под боком Вас или подобно Вам думающего только о спасении души». В письмах упреки за молчание, описания неба и солнца в Риме и воздуха в Неаполе, жалобы на болезни: «Я хую, вяну и слабею и с тем вместе слышу, что есть что-то во мне, которое по одному мановению высшей воли выбросит из меня недуги все вдруг, хотя бы и смерть летала надо мной». Об императоре Николае I и встрече его с папой Григорием XVI. Просьба ссудить брата художника Иванова А. А., архитектора, деньгами при проезде его через Париж. О черкесах: «Бог недаром сберегает простоту некоторых народов и хранит в ущельях и горах остатки патриархального быта». Извещает о скором приезде к Толстым в Париж. Они встречаются также в Гrefенберге, где вместе лечатся, в Остенде, Риме и Франкфурте. Гоголь поддерживает отношения с братьями и сестрой Александра Петровича, Софьей Петровной, о которой А. О. Смирнова пишет Гоголю, что «она слывет очень гордой, как все Толстые грузинской породы». Софья Петровна живет то в Риме, то в Неаполе, повседневно общаясь с Николаем Васильевичем, о чем он тоже сообщает в письмах: «Здесь Ваша сестрица». В другом письме извещает, что виделся с братьями Алексеем и Иваном Петровичами и получил весточку от Софьи Петровны, которая зовет их всех в Неаполь. «Племянник Ваш находится в Нордернеу...» «Мысль, что проведу с Вами ползими в Неаполе, очень радостна». В одном из писем к Анне Георгиевне просит передать «глубочайший» поклон отцу ее Георгию Александровичу, которого, по-видимому, знал. В письме из Остенде от 11 сентября 1847 года просит Толстых узнать, дошло ли до Белинского его письмо. Белинский жил в Париже в одном отеле с Толстыми.

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.

Анна Георгиевна находилась как бы в тени этой мундальной дружбы. Да и вообще она не любила выставить себя напоказ, благодаря чему и осталась во многом недооцененной современниками. На портрете В. Гау, написанном в Париже в 1844 году, мы видим молодую еще женщину, «преlestную», с выраженным кроткого, но непоколебимого чувства внутреннего достоинства. В больших печальных глазах, устремленных прямо на нас, уверенность человека, идущего своим путем. Облик ее настолько привлекателен, что вызывает невольное волнение.

Гоголь очень тоскует по России, но состояние здоровья удерживает его в Италии. В письмах к Толстым он подробно рассказывает о лечении, благодарит за присылку лекарств. Вместе с тем усиливаются религиозные настроения Гоголя, и это тоже находит отражение в письмах.

14 января 1845 года Гоголь приехал в Париж. Вторую половину января и февраль он в Париже у Толстых. В августе-сентябре вместе с Александром Петровичем лечится в Грэфенберге. В следующем году в мае Гоголь опять гостит в Париже у Толстых. Он вновь приезжает к ним на несколько дней в августе из Остенде, где в свою очередь посещает его Александр Петрович. Гоголь в это время продолжает работу над «Перепиской с друзьями». В мае 1847 года Николай Васильевич пишет Толстому: «На днях выезжаю из Неаполя и обниму Вас лично в Париже». В ноябре-декабре Гоголь опять в Неаполе, где часто видится с С. П. Апраксиной и приехавшим к ней Толстым. Под влиянием А. П. Толстого Гоголь начинает изучать греческий язык.

В следующем году, уже в России, Гоголь переезжает на постоянное жительство к Толстым.

В его письмах мы читаем также рассказы о Мальте, о путешествии в Иерусалим, которое он предпринял, чтобы замолить грехи. («О, как велика тайна нашего искупления!»). Он заезжал также в Оптиную пустынь («Благодать видимо там присутствует»). И, наконец, из Васильевки, своего родного сельца, где готовит к печати второй том «Мертвых душ», пишет графу бодрое письмо: «Силы умственные, слава богу, еще свежи».

С. Т. Ансаков жалуется: «Гоголю начинало мешать его религиозное направление... Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать других и что поучения его будут полезнее его комористических сочинений. Во всех его письмах

тогдашнего времени, к кому бы они ни были писаны, уже начинает звучать этот противный мне тон наставника».

Поучает Гоголь и А. О. Смирнову, и В. А. Жуковского, и графинь Вельгорских, и других своих корреспондентов, так что не удивительно, что иногда он не может дождаться ответа: «Что с Вами делается, бесценный Александр Петрович? И отчего до сих пор от Вас ни строчки?» (1845 г.) В другом письме 1846 года: «Что с Вами? Где Вы? И отчего от Вас до сих пор ни одной строчки? Я писал к Вам из Грешенберга, где пробыл около месяца и все поджидал Вашего брата Алексея Петровича».

В 1847 году Н. В. Гоголь выпустил «Выбранные места из переписки с друзьями», в которых развивал идеи и мысли второго тома «Мертвых душ». Книга оказалась неудачной и вызвала резкую критику даже среди близких друзей Гоголя. С. Т. Аксаков назвал «Выбранные места» сплошной «ложью, дичью и нелепостью, которая делает Гоголя посмешищем всей России». В. Г. Белинский разразился своим знаменитым «Письмом к Гоголю», характеризуя книгу как «тяжкий грех», который должно «искупить новыми творениями», напоминающими «прежние».

Но нас в данном случае интересует другое. Посмотрим, кому адресованы письма Гоголя.

Главы «зловредной», по выражению Белинского, книги, написанной в форме писем, обращены к самым близким друзьям: А. О. Смирновой — три письма, Н. М. Языкову и Вельгорским — тоже по три, В. А. Жуковскому и С. П. Шевыреву — по два. Несколько адресатов остались неустановленными. Относительно статьи «Русский помещик» в литературе о Гоголе высказывалось мнение, что ее основу составили беседы Гоголя с племянником А. П. Толстого В. В. Алранским, крупным помещиком-землевладельцем.

К самому А. П. Толстому обращены семь писем.

Это «Значение болезней» — отрывок из письма Гоголя к А. П. Толстому; «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве» и «О том же». (В основу этих двух статей были положены беседы и переписка Гоголя с А. П. Толстым о вере и русской церкви). «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности»; «Нужно любить

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.

Россию», «Нужно проездиться по России» и «Занимающему важное место».

Статья «Нужно любить Россию» по своим моралистическим тенденциям перебивается с речью губернатора из заключительной главы второго тома «Мертвых душ», а сам губернатор наделен некоторыми чертами, приписываемыми Гоголем Толстому.

В «Выбранной переписке» Гоголь критиковал бюрократический аппарат, высшее дворянское общество и современные ему социальные устои, делился мыслями о положении дел в России.

Вот что пишет Гоголь в статье «Нужно любить Россию», адресованной А. П. Толстому:

«Всякое истинное русское чувство гложет и некому его вызвать». «Дремлет наша удаля, дремлет решимость и отвага на дело, дремлет наша крепость и сила, дремлет ум наш среди вилой и бабьей светской жизни, которую привили к нам под именем просвещения». «Бесчинства, неправда, взятки вызывают уже не крики негодования благородных на бесчестных, но вопль всей земли».

В статье «Нужно проездиться по России», адресованной ему же, Гоголь пишет: «Еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях, никогда различные образования и воспитания не отталкивало так друг от друга всех, никогда еще не было такого разлада во всем». «Образовался другой, незаконный ход действий, много законов государства, и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида; и если внешне пристально в то самое, на что другие глядят поверхностно, то закружится голова у наимудрейшего человека».

«Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить в воровстве прежнего, значит сделать двух воров вместо одного. Да и вообще система ограничения самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком: на следующий год окажется надобным ограничить того, который приставлен для ограничения, и тогда ограничением не будет конца. Нужно оказать доверие к человеку. Кто знает, что на него смотрят, как на мошенника, и приставляют к нему со всех сторон надсмотрщиков, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; нужно напирать на то, чтоб каждый держал сам себя в руках, а не на то, чтоб его держали другие».

Но Гоголя критиковали не за эти констатации, а за призывы к смирению и благочестию.

К Толстому обращены также два письма о церкви, о которых Белинский отозвался, что «времена наивного благочестия давно уже прошли для нашего общества». Интересно другое письмо к Толстому — «О театре»:

«Нападения Ваши на театр односторонни и несправедливы. Разберите лучше: точно ли восстают против театра или только против того вида, в котором он теперь является. Надо смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделница и вовсе не пустая вещь, если принять в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собой, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно сказать миру много добра.

Друг мой, — писал Гоголь в заключение этого письма, — храни Вас бог от односторонности! с нею всюду человек производит зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде! Односторонний человек самоуверен, дерзок; всех вооружает против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек может быть только фанатиком».

Неуспех книги привел Гоголя к выводу, что ему нужно ехать в Россию. Живя долго за границей, он, по его собственному признанию, «отстал» от русской действительности. Его связи с русским обществом, в особенности с мыслящей его частью, оказались ослабленными, а то и совсем разорванными.

Приехав в Москву, он некоторое время пожил у М. П. Погодина, а затем переселился к Толстым.

Дом на Никитском бульваре напротив Дома журналистов, в котором он прожил последние четыре года своей жизни, где сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» и где умер, и был домом Анны Георгиевны и Александра Петровича.

Они приобрели его у наследников участника Отечественной войны 1812 года генерал-майора А. И. Талызина.

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.

Он не перестроен, имеет, как и тогда, шестнадцать окон во двор и пять на улицу, в два этажа, с каменным балконом на колоннах во двор. В том месте во дворе, где стоит теперь памятник Николаю Васильевичу, был колодец с журавлем.

Вспоминает поэт и переводчик Н. В. Берг: «Жил в то время Гоголь тихо и уединенно у графа Толстого на Никитском бульваре, занимая переднюю часть нижнего этажа, окнами на улицу, тогда как сам Толстой занимал весь верх. Здесь за Гоголем ухаживали, как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, ужин, чай подавались там, где он прикажет. Белье его мылось и укладывалось в комод невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги дома, служил ему в его комнатах собственный его человек именем Семен. Тишина во флигеле была необыкновенная. Гоголь либо ходил по комнате из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарик из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению самых сложных и трудных задач...

Когда писание утомляло и надоедало, Гоголь подымался наверх к хозяину, не то надевал шубу, а летом испанский плащ без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару». Н. В. Берг пишет, что Гоголь находил тут «во всякий свой приезд в Москву все, что нужно для самого спокойного и комфортабельного житья... тихое, уединенное помещение и прислугу, готовую исполнять все его малейшие прихоти».

Д. А. Оболенский, родственник хозяина, описывает, как работал Гоголь:

«Граф А. П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои «Мертвые души»: проходя мимо дверей, ведущих в его комнаты, он не раз слышал, как Гоголь один, в закрытой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом».

Гоголь поселился в двух комнатах. «Первая вся устлана зеленым ковром с двумя диванами по стенам. Поперек комнаты стол, у дивана другой. На обоих столах несколько книг, ручками одна на другой...» (проф. О. М. Бодянский). Вторая комната была спальня.

Здесь, в этом доме, состоялось знакомство Гоголя и Н. С. Тургенева, которого привел к Гоголю знаменитый актер М. С. Щепкин.

Н. С. Тургенев писал: «Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года... Комната его находилась возле се-

зей, направо. Мы вошли в нее — и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталончики.

Увидев нас с Щепкиным, он с веселым лицом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я — рядом с ним на широком диване. «Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого гладкого белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым...»

5 ноября 1851 года здесь, в комнатах А. П. Толстого, состоялось чтение «Ревизора» для актеров и литераторов. Присутствовали С. Т. и И. С. Аксаковы, С. П. Шевырев, И. С. Тургенев, Н. В. Берг и другие писатели, а также актеры М. С. Щепкин, П. М. Садовский и Шумский.

И. С. Тургенев отмечает, что Гоголь поразил «чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет — есть ли тут слушатели и что они думают. Кажется, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу городничего о двух крысах... «Пришли, понюхали и пошли прочь!» — Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор».

Живя у Толстых, Гоголь ездил в свое родовое имение Васильевку, в Одессу, Калугу, где муж А. О. Смирновой был губернатором. Он упорно работал над вторым томом «Мертвых душ», который готовил к печати. Главы из него он читал в Абрамцеве Аксаковым, А. О. Смирновой в Калуге, И. В. Капнисту, С. П. Шевыреву и, конечно, Анне Георгиевне и Александру Петровичу. Но работа шла трудно.

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.



Из письма Жуковскому:

«Творчество мое лениво. Стараясь не пропустить и минуты времени, не отхожу от стола, не отодвигаю бумаги, не выпускаю пера — но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно».

Религиозно-мистические настроения его усиливаются. Московский врач Овер, тогдашняя знаменитость, лечивший Аксаковых и случайно заставший у них Гоголя, выходя сказал В. С. Аксаковой о нем: «Несчастный!». «Отчего же несчастный?» — «Ипохондрик, не приведи бог его лечить, это ужасно!».

Очень подействовала на Гоголя смерть сестры поэта и друга Гоголя И. М. Языкова, бывшей замужем за Хомяковым.

«Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли», — писал А. С. Хомяков. Ее смерть, по словам доктора А. Т. Тарасенкова, «поразила его до чрезвычайности». «С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве» (А. С. Хомяков).

Еще за границей Гоголь через А. П. Толстого вступил в переписку с попом Матвеем Константиновским, отрицавшим литературу и искусство как пособников беса. Теперь он с ним познакомился лично.

«Что послания о. Константиновского, — вспоминает Ив. Щеглов, беллетрист, — в результате имели разрушительное действие на Гоголя — едва ли здесь приходится повторять... Но это было ничто в сравнении с живым словом. Испытанный оратор, о. Матвей тем более увлекался, чем очевиднее было впечатление на слушателя, и становился тем беспощаднее в своем обличении, чем беспомощнее оказывалась жертва». «Ничто земное нас не должно прельщать», — утверждал он.

Непосредственно после отъезда попа Гоголь бросил литературную работу. Началась духовная агония. Гоголь перестал принимать пищу и лекарства. Близкие боролись за его жизнь. Анна Георгиевна и Александр Петрович делали все, чтобы спасти его.

Л. И. Арнольд, брат А. О. Смирновой, с которым Гоголь ездил к ней в Калугу, слушавший в чтении Николая Васильевича главы из второго тома и оставивший подробный пересказ их, вспоминает, что в напряженные дни болезни Гоголя он встретился с гр. А. П. Толстым у И. В. Капниста, общего их знакомого.

«Как здоровье Николая Васильевича?» — спрашиваю я у графа. — «Он очень плох, почти без надежды, — отвечал

граф. — Сегодня будет еще консультация, посмотрим, что скажут доктора. Гоголь ничего не слушается, не принимает никаких лекарств и никакой пищи, и я пришел просить Н. В. которого Гоголь очень любит и уважает, захватить к нему еще раз и уговорить его послушаться приказаний медиков. Не знаю, удастся ли нам?..»

Не удалось. Гоголь по-прежнему отказывался есть и толькопил разбавленную красным вином воду.

Все лучшие московские врачи ежедневно посещали его, но он отказывался принять их помощь. Он «объявил решительно, что мучить себя не позволит, что бы там ни случилось. «Случится то, что вы умрете!» — сказал Овер. — «Ну, что ж! — отвечал Гоголь. — Я готов... я уже слышал голоса...» (Н. В. Берг).

Почувствовав приближение смерти, Гоголь позвал к себе гр. Толстого и просил его принять на сохранение рукопись второго тома «Мертвых душ», а по смерти его отвезти ее к московскому митрополиту Филарету и просить его совета, что напечатать, а что оставить в рукописи. «Пусть он наложит свою руку; что ему покажется ненужным, пусть зачеркивает немилосердно». Граф отказался принять бумаги, чтоб не показать больному, что считает его положение безнадежным, и эта его дружеская деликатность имела последствия самые непредвиденные.

Вот что известно по рассказу слуги Гоголя.

В три часа ночи он разбудил своего Семена, надел теплый плащ, взял свечу и велел Семену следовать за собой в кабинет. Там, отобрав из портфеля некоторые бумаги, велел свернуть их в трубку, связать тесемкою и положить в камин. Семен бросился перед ним на колени и убеждал его не жечь, чтоб не жалеть, когда выздоровеет. «Не твое дело», — отвечал Гоголь и сам зажег бумаги.

Гоголь ворочал листы, крестясь и тихо творя молитву до тех пор, пока они не превратились в пепел.

Семен плакал и говорил: «Что это вы сделали!» — «Тебе жаль меня?» — сказал Гоголь, обняв его, поцеловал и сам заплакал. Потом он воротился в спальню, крестясь по-прежнему в каждой комнате, лег на постель и заплакал еще сильнее.

На другой день он объявил графу Толстому о том, что сделал, жалел о содеянном и приписывал сокжеение рукописи влиянию нечистого духа. Александр Петрович отве-

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.

чал, что его раскаяние — хороший признак. Он напомнил ему: «И прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше». Гоголь при этих словах стал как бы оживать. Граф продолжал: «Ведь вы можете все припомнить?» — «Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу: у меня все это в голове».

Однако это был минутный всплеск. С этой ночи он стал еще более слабеть. Напрасно граф пытался развлечь его разговорами о близких ему предметах: о письмах общих друзей или об образе матери, который затерялся было, но нашелся опять. Гоголь отвечал с недоумением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать о подобных вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!».

Подавленный случившимся, он впал в полную апатию и в 8 часов утра 21 февраля 1852 года скончался.

Когда на следующий день родственник Толстых Д. А. Оболенский, только что узнавший о кончине, вошел в комнату Гоголя, посреди которой стояла нафельная печь, еще полная пепла от сгоревшей рукописи, перед аналогом дьячок протяжно читал псалмы. В этот момент он произнес:

«И бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения».

Тело Гоголя было перенесено для отпевания в университетскую церковь. Среди тех, кто нес его гроб, был великий русский драматург А. Н. Островский.

«Огромная университетская церковь не вмещала народу... Даже ночью приходил народ, чтобы поклониться ему. Можно сказать, что вся Москва перебывала у гроба».

Из церкви, вплоть до Даниловского кладбища, гроб несли на руках. У Никитских ворот его взяли студенты. «За гробом семь верст до кладбища пешком шло несметное число лиц всех сословий... Процессия была так велика, что нельзя было видеть ее конца».

Гоголя положили недалеко от Языкова. На гробнице написано изречение Ефрема Сирина: «Горьким словом моим посмеюся...»

В сожженной рукописи Гоголь, по словам Н. А. Добролюбова, «захотел представить идеалы, которых нигде не мог найти». Его произведение из разоблачительного должно было стать панегирическим. Однако художник в Гоголе восставал против благочестивого мыслителя, и в этом была причина душевных мук великого писателя и сожжения им своего труда.

Благочестие Гоголя было еще осложнено болезнью. «Нет выше звания, чем монашеское, — пишет он в письме к гр. А. П. Толстому. — И да сподобит нас бог когда-нибудь надеть простую рясу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость».

Вскоре после похорон Гоголя все его бумаги, в том числе и сохранившиеся черновые варианты «Мертвых душ», были переданы графом А. П. Толстым другому близкому другу Гоголя — С. П. Шевыреву.

Вслед за этим Толстых постигли еще новые удары. В Петербурге скончался брат Александра Петровича — Иван, тоже потомок Вахтанга VI. Он погребен в Александровской лавре. А 15 мая 1852 года в своем поместье, в Лыскове под Нижним Новгородом на 90-м году жизни умер отец Анны Георгиевны Георгий Александрович Грузинский, последний прямой наследник Вахтанга VI, человек, с которым связана целая эпоха в жизни Нижнего Новгорода.

На его похороны, помимо Трубецких, Голицыных, Бахметевых, Меньшиковых, Багратионов, Цицановых и других родственников, съехались также многие нижегородские дворяне, над которыми он предводительствовал целых 29 лет. Ушел человек, знавший Пушкина, Карамзина, Гоголя, Екатерину, Павла, Александра I, Николая...

Похоронен он в Лыскове в Спасо-Преображенском соборе рядом с матерью, женой, сыном и сестрой.

Для Анны Георгиевны это были тяжелые дни. С отцом были связаны детство, юность, много пережитого. Теперь это уходило навсегда. Огромный растреллиевский дворец и парк будили слишком много воспоминаний. Уезжая, она окинула последним взором раздольные волжские берега, нарядные церкви Нижнего Новгорода. Ей казалось, что жизнь кончается.

Годы с 1856 по 1862 Толстые провели в Петербурге, где граф был обер-прокурором Синода, то есть министром по делам церкви.

Раньше, несмотря на уговоры Гоголя, А. П. Толстой не хотел «взять себе административную должность». В частности, из «Выбранных мест» видно, что ему предлагали губернаторскую должность на Кавказе, но он отказался, вполне, по-видимому, понимая, какую политику ему придется проводить там. Теперь же он согласился из-за смерти Николая I и

Борис Андроникашвили. Потомки Вахтанга VI в России.

пробудившихся благодаря его преемнику надежд на обновление. Однако, разочаровавшись, он вновь оставил государственную службу.

Скончался Александр Петрович в 1873 году в Женеве, о чем историк М. П. Погодин сообщал в «Московских ведомостях».

Там же были помещены траурные сообщения вдовы и сестры покойного, Анны Георгиевны и Анны Петровны Бахметевой. Они оповещали, что церковные службы будут совершаться в домашней церкви Толстых при их доме на Садово-Кудринской улице. По прибытии из Женевы гроб с телом был поставлен в церкви Покрова в Кудрине, о чем тоже сообщалось в газете. Похоронила его Анна Георгиевна в Донском монастыре рядом с его родителями — прославленным русским генералом и внучкой царевича Георгия.

Дом на Никитском она продала и переселилась в свой прежний на Садово-Кудринской. Анна Георгиевна осталась совсем одинокой. Была, конечно, многочисленная родня, но из близких никого уже не осталось.

Еще в 1844 году Гоголь из Франкfurта писал А. М. Вьельгорской в Париж об Анне Георгиевне, что «она множество набрала материалов к себе в душу и держит их точно под замком, не применяя их к делу». Обращаясь к Вьельгорской, он пишет: «Если бы Вы ее могли заставить войти в положение какого-нибудь несчастливца, которому нужна помощь, и заинтересовать ее им».

Такими «несчастливцами» Анна Георгиевна всегда занималась, о чем Гоголь в то время, очевидно, не знал. В мемуарной литературе она как раз и известна «своей благотворительностью». Теперь попечительство становится ее основным занятием. Она жертвует крупные суммы в Донской монастырь (2.000 р.), в Зосимовскую пустынь (6.000 р.) и в другие монастыри и церкви, оказывает помощь различным обществам, участвует в благотворительных предприятиях.

Она пережила Александра Петровича на 15 лет и умерла в 1889 году на 92-м году жизни.

Все имущество, в том числе лысковское, как и само Лысково, она завещала некоему Стогову, побочному сыну старого князя, вещи же, связанные с Александром Петровичем, в том числе принадлежавшие раньше Н. В. Гоголю, передала семье брата А. П. Толстого, проживавшей в Калужской губернии. Часть этих вещей, в том числе перо Гоголя, экспонируется теперь в Калужском историко-краеведческом музее.

Еще раньше она распространилась с Всесвятским, продав его в частные руки. От своего обширного дома с церковью, флигелями и садом на Садово-Кудринской стоимостью более 100.000 рублей Анна Георгиевна отказалась в пользу московского духовенства. В доме, согласно ее воле, был устроен приют для сорока престарелых священнослужителей, названный «Александровским» в честь Александра Петровича. Большие суммы также были предусмотрены ею на содержание, отопление дома и на первоначальное обзаведение. В церкви при приюте она оставила все свои драгоценные иконы, всю утварь и ризницу, за исключением ковчега с мощами грузинских святых, который был предназначен для передачи согласно завещанию в один из грузинских женских монастырей.

Незадолго до ее смерти, в 1887 году, в «Русском архиве» был приведен небольшой список еще живущих лиц, лично знавших Пушкина. Это были: барон А. И. Дельвиг, А. А. Красовский, автор некролога Пушкину, графиня А. Г. Толстая и декабрист А. С. Гангеблов, сын генерала Симона Гангеблдзе. В то время не знали еще, что жива Вера Александровна Нащекина, жена друга Пушкина — Павла Войновича, что обнаружилось в 1899 году, к 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Похоронена Анна Георгиевна тоже в Донском монастыре, рядом с мужем. Могилы их не сохранились.

В «Мемориальных комнатах Н. В. Гоголя» на Суворовском бульваре лежит под стеклом альбом пьес Мендельсона, принадлежавший Анне Георгиевне. У входа на стенде можно прочесть краткую историю дома с упоминаемым Александром Петровичем и Анной Георгиевной. Есть немного о них и в литературных источниках, но история их жизни в целом неизвестна, пожалуй, никому.

МОНОЛОГ С КОММЕНТАРИЯМИ



●

Хочу поблагодарить Софино Чиаурели за возможность встретиться с ней. Наутро она улетала в ФРГ на фестиваль советских фильмов, посвященный 60-летию СССР.

●

Вероятно, мне следует сразу же сказать, что у меня счастливая творческая судьба. Я родилась в актерской семье, и мое будущее было предопределено, все были убеждены в том, что я свяжу свою судьбу с театром. Я же об этом и не думала, мечтала стать хирургом, а родители прочили меня в пианистки.

(Я смотрела на Софино, слушала ее и лишний раз убеждалась в правильности своего решения, родившегося внезапно. Ему способствовали непринужденность, общительность и радушие, с которыми, вероятно, встречают всех, кто приходит в этот дом.

В тот день дул холодный, пронзительный ветер, солнце робко попыталось выглянуть, но тут же скрылось. Когда я подошла к дому, дверь оказалась от-

крытой, меня уже ждали, хотя Софико была занята — шла фотосъемка. После серого неласкового дня яркий свет юпитеров согревал. Я шла на встречу, заранее обдумав свои вопросы, но, наблюдая за тем, как Софико снималась, я вдруг решила, что не буду задавать никаких вопросов, а попрошу ее рассказать о себе, в течение определенного отрезка времени «сыграть роль Софико»).

Вероятно, я сопротивлялась мнению окружающих из чувства протизоречия. Помню, мое решение ехать в Москву и сдавать во ВГИК удивило даже моих родителей. А я сдала документы сразу в два вуза и, представьте себе, прошла все конкурсы и попала и во ВГИК, и в ГИТИС.

(Тогда Софико не отдавала себе отчета в том, что театр давно уже «вошел в нее», еще с тех пор, когда она ребенком вместе с матерью ходила на репетиции, сопереживала Юдифи, Клеопатре, Маргарите — героиням, которых так неповторимо воплотила на сцене театра им. Марджанишвили Верико Анджапаридзе. Влияние родителей, несомненно, сыграло свою роль, быть может и не столь заметную. Да и сам уклад жизни в доме родителей, их друзья, встречи с людьми искусства не могли пройти бесследно, не сыграть своей роли в ее выборе).

Представьте себе, что ребенком меня никто в кино не снимал, даже отец, вероятно потому, что я была «гадким утенком». Впервые меня пригласил сниматься в кино Р. Чхендзе в фильме «Наш двор», когда мне было уже 19. Фильм имел шумный успех, говорили, что он — в русле итальянского неореализма, а мы ведь просто играли самих себя, девочек и мальчишек 50-х годов.

(Фильм «Наш двор» стал этапным в истории грузинской кинематографии. Это был 1956 год, именно тогда и заговорили о новом поколении грузинских кинематографистов. Сегодня же грузинское кино шагнуло далеко за пределы Советского Союза, обретая все большую и большую популярность. Уже состоялись ретроспективные показы грузинских фильмов в США, Франции, Греции и других странах. Сегодня, например, их смотрят по телевидению зрители ФРГ).

После окончания института пришла в родной мне театр. И хотя кино принесло мне известность и популярность, я не боюсь признаться, что театр люблю больше — за его дух, атмосферу, за живое общение со зрителем, за возможность постоянно работать над образом, даже после премьер, за то, что он помогает актеру понять себя, выявить в себе предел возможного, за то, что в один вечер можно прожить в спектакле целую жизнь. В кино же нет последовательности, вместо живых зрителей на тебя смотрит мертвый глаз аппарата. И еще, Фильм — это искусство режиссера. Роль в кино и в театре сыграно немало, но с каждой новой ролью продолжается поиск нового. В каждую роль вносишь так много своего, столько своего сердца, что кажется, все, выдохлась, выложилась. А будет новая роль — и где только силы берутся! Но если в роль не вложишь всю себя — она, конечно же, не получится.

Где бы я ни играла, в театре ли, в кино — я стремлюсь к тому, чтоб это были живые люди с присущими им страстями.

Еще в студенческие годы я твердо решила, что в искусстве я ни за что не буду подражать матери. А ведь это было очень нелегко. Авторитет Верико Анджапаридзе, ее влияние были слишком велики. Относительно недавно мама возобновила в театре спектакль по пьесе Гудкова «Уриэль Акоста», поставленный в свое время К. Марджанишвили для определенных актеров, в частности для мамы и У. Чхеидзе. Играть роль, которая прочно связана с именем В. Анджапаридзе, было нелегко. Я никак не могла вырваться из тех рамок, которые невольно ограничивали меня. И только в последнем акте мне это удалось, мне кажется, я сказала свое слово.

(С каким волнением ждал тбилисский зритель премьеры «Уриэля...»! Старшее поколение помнило «непреззойденную» Верико Анджапаридзе в роли Юдифи, молодежь знала об этом по рассказам. И вот новая Юдифь... Сцена после премьеры буквально была завалена цветами. Верико обнимала дочь...).

Когда мама обняла меня, для меня это были мучительные минуты... Мне казалось, она навсегда прощалась со своей Юдифью и виной тому была я...

(А мне кажется, Верико Анджапаридзе в те минуты любовалась своей дочерью, подарившей ей радость встречи с новой Юдифью).

Помните, я говорила, что не хотела быть актрисой... А прошлыи годы, и я поняла, какую огромную роль сыграла мама в моем пристрастии к театру, в моем отношении к творчеству вообще. Как не позавидовать ей, ее умению чувствовать время, потребности и пристрастия нового поколения. Я очень ценю ее мнение, ее высказывания...

(Софико, вероятно, в силу дочерней скромности не говорит о том, что Верико Анджапаридзе — народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда. С ее именем связана целая эпоха в советском театре, она была в числе тех мастеров культуры, которые создали нынешний театр им. Марджанишвили. У. Чхеидзе, например, говорил, что такие актеры, как Верико, рождаются не так уж часто).

Маме 84 года, но она продолжает работать. И я испытываю чувство искренней гордости и подлинного счастья, работая бок о бок с ней. Ненстоявая, фанатичная любовь к театру у меня, конечно же, от мамы. От отца же, видимо, пристрастие к кино, музыкальность, любовь к танцам...

(Михаил Чиаурели, народный артист СССР, лауреат Государственных премий, был кинорежиссером, его называли «рыцарем грузинского кино». Первые фильмы М. Чиаурели «Последний маскарад», «Хабарда», «Арсен» и другие вошли в сокровищницу советского кино. Это был на редкость одаренный человек, прекрасный актер, живописец, скульптор, ученый. Конечно же, быть дочерью таких известных родителей — дело нелегкое. Вот откуда в Софико обостренное чувство ответственности, большая работоспособность, требовательность к себе).

В кино мне везло. Помню, было такое: чуть ли не подряд три раза я получала на всесоюзных фестивалях призы за лучшее исполнение женской роли. Это были фильмы «Хевсурская

баллада», «Тепло твоих рук» и «Мелодии Верныйского квартала».

Особенно ответственной была роль Сидонии в фильме «Тепло твоих рук», где я должна была прожить всю жизнь героини — от юности до старости. Это был очень сложный образ, с большой эмоциональной нагрузкой.

В 1965 году я параллельно играла две роли — Мизекалу в фильме «Хевсурская баллада» и Жанну д'Арк в пьесе Ануя «Жаворонок». При всем различии этих образов для меня они были в чем-то схожи — своим страстным, предельным проявлением любви. Я привязана к этим своим героиням, хотя с тех пор в мою жизнь вошли новые, не менее интересные и духовно богатые герои.

Очень близка мне по духу роль моей современницы в фильме «Несколько интервью по личным вопросам», удостоенном Государственной премии. Я считаю, что мне крупно повезло. Знаю, что многие актеры мечтают сыграть современного героя, чтоб сказать свое слово о нашей действительности. Хочется прожить на экране или на сцене судьбу советского человека, раскрыть его характер, рассказать о его гражданской позиции. Ведь соприкасаясь с переживаниями своих героев, невольно заглядываешь и в собственную душу, очищаешься, что ли... Если в других фильмах я должна отстранить свою жизнь и, как говорится, «влезть в шкуру» своей героини, как, скажем, в фильмах «Тепло твоих рук» и «Дерево желания», то в фильме «Несколько интервью по личным вопросам» я пыталась максимально отождествить себя с образом моей героини.

А вот чтоб сравнить роли, которые мне приходится играть, можно вспомнить роль Фуфалы. На первый взгляд, перед нами в фильме «Дерево желания» немолодая полоумная женщина, потешающая все село рассказами о своих победах в любви. Я же, думая над этой ролью, все чаще и чаще возвращалась к судьбе князя Мышкина. И если мне удалось донести до зрителя основное в образе Фуфалы — ее безграничную веру в добро, то я счастлива. Много времени в моей творческой кухне занимает обдумывание роли. Театр я люблю за то, что у меня есть возможность вернуться к роли, внести в образ, уже после того как он сыгран, что-то новое, доработать его.

(Диапазону героинь Софико в театре действительно можно позавидовать. Она играла в произведениях Софокла, Шекспира, Гоголя, Островского, Ильи Чавчавадзе, Давида Клдншвили и других. Именно в те-

атре более всего удастся Софиико проявить характерные для актера синтетического театра грани. В одной из бесед Елена Гоголева говорила о том, что, работая с К. Марджаншвили над спектаклем «Дон Карлос», она столкнулась с тем, что от актера требовалась предельная пластичность и музыкальность.

Для Софиико Чнаурели пластика, пение, танец — такие же неотъемлемые составные спектакля, как слово. Вероятно, благодаря широте творческого диапазона, смелому обращению к жанровым элементам, темпераменту удастся Софиико создать характер глубоко национальный, но понятный зрителям всех других национальностей. И еще, не забывая о богатых традициях грузинской театральной культуры, опираясь и черпая из нее, Софиико никогда не забывает о том, что она дитя своего времени, она всегда современна, отсюда и современность ее художественного мышления).

Очень люблю заново открывать простые истины. Вероятно потому так охотно соглашаюсь играть роли простых людей, людей из народа. Казалось бы, самая обычная роль [скажем, прачка Вардо в мюзикле «Мелодии Вернейского квартала» или же Софиико в фильме «Не горюй!»], а сколько она таит в себе! Какой это удивительный источник для того, чтоб поведать людям о Добре, Любви, Красоте, Счастье.

Сейчас я готовлю роль Анны Карениной. Я вообще очень люблю Толстого за его умение проникнуть в психологию женщины со всеми ее слабостями, которых порой сама женщина не замечает в себе. В инсценировке романа Толстого, которую мы осуществляем в нашем театре, на мой взгляд, проводится очень интересная мысль — вот если бы встретилась Анна и Левин, то счастье состоялось бы... Состоялось бы... А как много для этого нужно...

В работе над ролью мне очень помогает музыка. Близок мне Рахманинов, особенно его Второй концерт. Знаете... может это покажется вам странным, но этот концерт живет во мне даже тогда, когда я играю на сцене и звучит совсем другая мелодия. Наверное, он и помогает мне ощутить «публичное одиночество», о котором говорил Станиславский. И еще одно музыкальное произведение всегда сопутствует мне, это — фантазия Арениского на темы Рабинина для фортепиано с оркестром. Мне кажется,

мысли наши — мои и композитора — созвучны. Это моя музика...

В последнее время увлеклась старинными американскими блюзами. Слушаю их дома, что бы ни делала (даже самую обычную домашнюю работу), — это помогает мне думать над своей будущей работой — режиссерским дебютом. Хочу поставить пьесу Энддена «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ногти». Буду играть одну из ролей. Идея поставить что-либо своими силами, испытать себя в режиссуре родилась не сегодня, я вынашиваю ее еще с 1979 года. Что получится! Время покажет.

(Время покажет... Время откроет новые и, несомненно, интересные грани творчества актрисы, время по-прежнему будет заполнено репетициями, встречами, съемками, международными фестивалями и другими поездками, разными общественными обязанностями, а ведь есть еще и семья, и дети... Но, быть может, именно из всего этого и складывается портрет Софико Чинаурели?..).

Монолог записала и комментировала Виктория ЗИНИНА

НОВЫЙ ПОРТРЕТ А. С. ГРИБОЕДОВА

В фондах отдела искусства и культуры стран Востока Государственного музея искусств Грузии хранится портрет Александра Сергеевича Грибоедова, выполненный неизвестным художником черной акварелью. На его оборотной стороне — акварельный рисунок ярких цветов, что весьма характерно для иранской миниатюрной живописи первой половины XIX века.

Годы, проведенные на чужбине, не могли не отразиться на внешности Грибоедова. Сильно поредевшие волосы несколько изменяют наше традиционное представление об облике писателя. (Юрий Тынянов в книге «Смерть Вазир-Мухтара» писал о том, что Александр Сергеевич в беседе с матерью «поднял на нее совсем чужое, не Сашкино лицо: немолодое, с облезшими по вискам волосами и произвольным взглядом».)

Высокий лоб, сановитая осанка, твердость и непреклонность характера — все



это было великолепно подчеркнато художником.

Несомненно, мастер писал портрет с натуры, но, к сожалению, не закончил его. Однако то, что было сделано автором миниатюры, сделано тщательно и с мастерством. Видно, портрет был выполнен незадолго до смерти А. С. Грибоедова, погибшего 11 февраля (30 января по ст. стилю) 1829 года во время истребления русского посольства в Тегеране.

Судя по опубликованным в статье академика А. М. Мухтарова данным¹, за два дня до трагических событий в Тегеране Дадашев (особо доверенное лицо при русской миссии, позднее консул в городе Реште) отправил свои вещи в Решт, а оттуда в Баку, благодаря чему и сохранились документы,

¹ См.: Мухтаров А. М. Гребень Фатх-Али, шаха иранского. Изв. общественных наук АН Тадж. ССР, 1962, вып. 1 (28), с. 29.

ХРОНИКА

КОРИФЕЙ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В ЕРЕВАНЕ в Большом зале Дома литераторов состоялся юбилейный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося грузинского поэта Галактиона Табидзе.

Вечер вступительным словом открыл председатель правления Союза писателей Армении В. Петросян. В своем выступлении он особо подчеркнул, что Галактион был детищем многовековой грузинской поэзии и своего времени, вобравшим в себя всю соль мировой поэзии и в то же время сумевшим остаться верным своим истокам, традициям своего народа.

письма и вещи, среди которых находился и портрет Грибоедова, приобретенный национальной галереей Грузии в 1921 г. из частной коллекции Сатара-заде, проживавшего в Тбилиси и долгое время работавшего в Иранском консульстве в Тбилиси. Сатар-заде был страстным коллекционером исторически ценных материалов, и неудивительно, что именно в его коллекции оказался портрет замечательного русского писателя-дипломата.

Ангелина ГРИГОЛИЯ

Слово о поэте произнес секретарь правления Союза писателей Армении А. Григорян.

На вечере также выступил секретарь правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили.

Мастера художественного чтения Армении прочитали стихи Г. Табидзе в переводе П. Севака.

В исполнении армянских и грузинских артистов прозвучали песни и романсы из стихов Галактиона.

На вечере присутствовали секретарь ЦК КП Армении К. Даллакян, заведующие отделами ЦК КП Армении Г. Асатрян и С. Аветисян.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

В ТБИЛИССКОМ государственном академическом театре оперы и балета имени Э. Палиашвили состоялся торжественный вечер, посвященный 60-летнему юбилею газеты «Заря Востока», органа ЦК Компартии Грузии, Верховного Совета и Совета Министров Грузинской ССР.

В президиуме — товарищи Э. А. Шварцнадзе, Г. А. Андроникашвили, Г. Д. Габуния, П. Г. Гиладшвили, Г. Н. Енукидзе, Г. В. Колбин, Д. И. Патиашвили, О. Е. Черкезия, ответственные партийные, советские, профсоюзные, комсомольские работники, руководители средств массовой информации, деятели науки и культуры, делегаты XXVI съезда КПСС, гости из братских союзных республик.

Торжественное заседание вступительным словом открыл секретарь ЦК КП Грузии Г. Н. Енукидзе.

Единодушно, под бурные аплодисменты собравшихся, избирается почетный президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андроповым.

Коллектив редакции, ее авторский актив сердечно приветствовали и поздравил председатель правления Союза журналистов Грузии, редактор газеты «Коммунист» Г. В. Бедниевшвили, президент Академии наук Грузии Е. К. Харадзе, старший горновой Магнитогорского металлургического комбината имени В. И. Ленина, Герой Социалистического Труда В. Д. Наумкин, писатель, лауреат Государственной премии СССР Ч. И. Амраджibi,

редактор газеты «Советская Эстония» Г. Ф. Туронен...

Выступивший затем редактор газеты «Заря Востока» Н. Г. Черкезишвили рассказал об основных направлениях деятельности редакционного коллектива, поблагодарил выступивших и в их лице всех читателей за содействие и активную поддержку в работе по освещению жизни республики, претворению в жизнь решений XXVI съезда КПСС и XXVI съезда Компартии Грузии, ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Для участников торжественного заседания был дан праздничный концерт.

ЛАУРЕАТЫ НАЗВАНЫ

СТАЛИ известны имена новых лауреатов республиканской премии имени Ивана Мчавели. Эта награда присуждается раз в два года авторам лучших художественных переводов, трудов в области истории и теории перевода.

Секретариат правления Союза писателей Грузии и Главная редакционная коллегия по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей при Союзе писателей республики присудили премию имени И. Мчавели: Зурабу Агвледиани — за переводы лучших образцов грузинской прозы последних лет, опубликованные на русском языке, Георгию Нишнанидзе — за перевод на грузинский язык стихов английских и американских поэтов, напечатанных в сборнике «Да, я Сэм Холли», а также за переводы образцов английской и абхазской поэзии,

опубликованные в газете «Литературиლი Сакарთველო» и альманахе «Саунджо», **Дали Кокая-Панджикидзе** — за перевод на грузинский язык романов швейцарского писателя Макса Фриша и немецкого (ГДР) прозаика Ульриха Пленцдорфа.

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Художественная литература» (Москва) выпустило в свет трехтомник «Рассказы советских писателей», посвященный славному юбилею — 60-летию образования СССР.

Сборник, составленный из произведений писателей всех народов и народностей на-

шей многонациональной страны, ярко свидетельствует о торжестве ленинской национальной политики, о расцвете братских литератур.

В сборнике грузинская литература представлена рассказами Константина Лордкипанидзе, Нодара Думбадзе, Арчила Сулакаური и Эдишера Килиани.

Около двухсот рассказов, включенных в трехтомное издание, демонстрируют стремление советских писателей шагать в ногу со временем, быть всегда в гуще событий, крепить связь с народом, создавать произведения, пронизанные духом партийности и народности.



На 1-й стр. обложки — скульптура работы Мераба Бердзенишвили.

Сдано в набор 21.11.83 г. Подписано к печати 16.11.83 г. Формат 84×108/32. УЭ 01205. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 9,4. Тираж 8600 экз. Заказ № 211. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ.

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАНДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

6-166

65 н.

ИНДЕКС 7617

